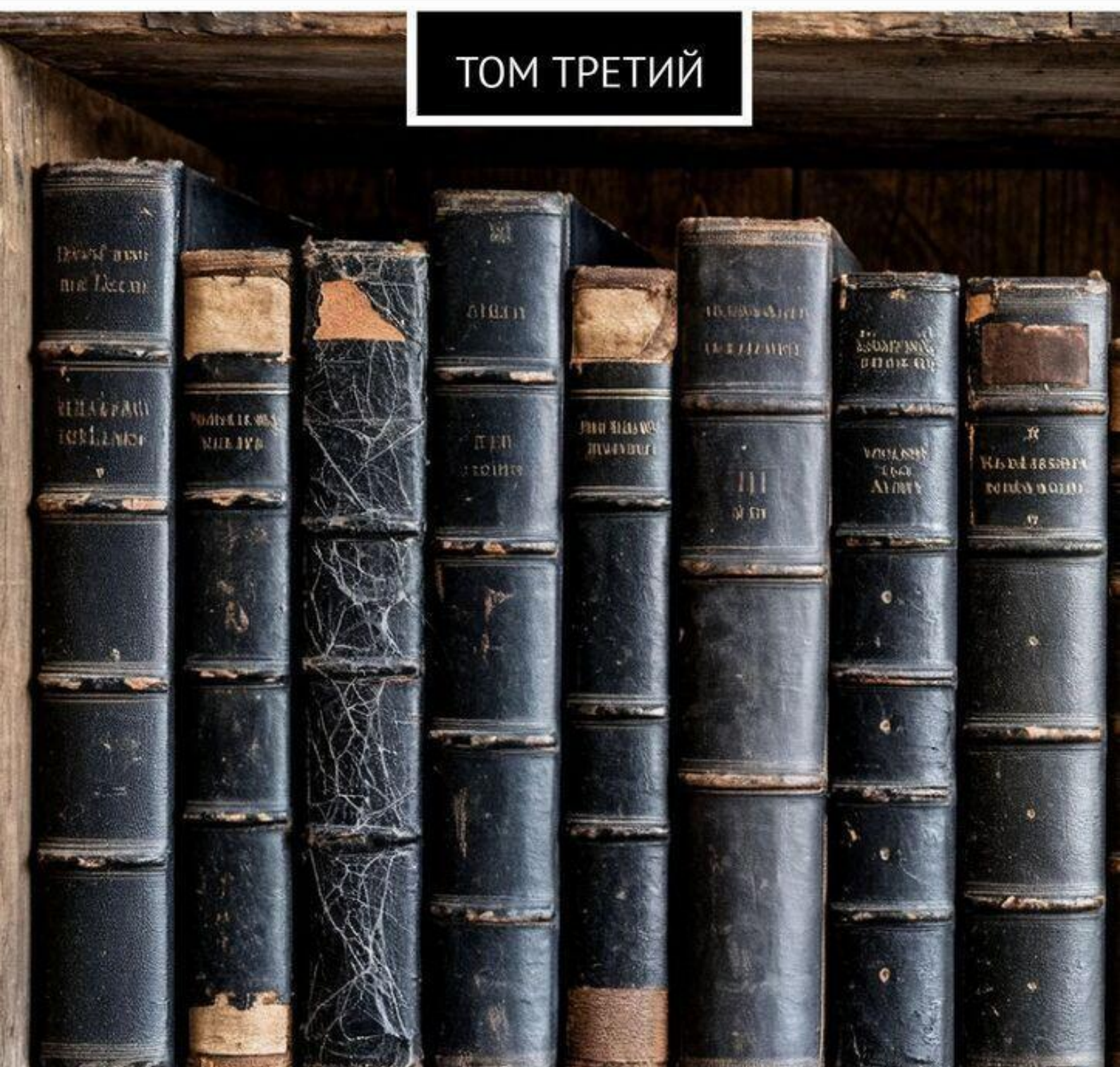


18+

ЛЕОНИД КАРПОВ

Всемирная история: грязная и вонючая

ТОМ ТРЕТИЙ



Леонид Карпов

**Всемирная история: грязная
и вонючая. Том третий**

«Издательские решения»

Карпов Л.

Всемирная история: грязная и вонючая. Том третий /
Л. Карпов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-700230-1

Натуралистичный атлас человеческого копошения. Здесь нет пафоса, только тяжелое дыхание в затылок, запах сырости и скрежет ржавчины. История, лишенная глянца: от создания нашей Вселенной до искусственного интеллекта, запертого в тесном корпусе сервера. Рассказы о мире, где все — от святыни до микросхемы — покрыто тонким слоем пыли и безнадёги. Беспощадный взгляд на то, как высокопарные идеи тонут в бесконечном бытовом чаду.

ISBN 978-5-00-700230-1

© Карпов Л.
© Издательские решения

Содержание

Сотворение мира в соответствии с гипотезой симуляции	7
Первая мировая война	9
Проход первого судна через Панамский канал	10
«Странная война»: рождественское перемирие	11
Атака мертвецов, или Битва при Осовецкой крепости	13
Публикация теории относительности Эйнштейна	14
Первый показ «Черного квадрата» Малевича	15
Видение Распутина о гибели России	16
Смерть Григория Распутина	17
Отречение Николая II от престола	18
Выступление Владимира Ленина на броневике	19
Явление Девы Марии в Фатиме	20
Штурм Зимнего дворца	21
Пандемия «испанки»	22
Дуэль Маяковского и Северянина за право называться гением	24
Первый Кубанский («Ледяной») поход	25
Расстрел семьи Романовых	26
Покушение на Ленина: выстрелы Каплан	27
Дебют писательницы Агаты Кристи	28
Великий Сибирский Ледяной поход	29
Принятие Сухого закона в США	30
Смерть Модильяни и его музы	31
Юнг против Фрейда: публикация «Психологических типов»	32
Дуэль Бенито Муссолини и Франческо Чиккотти	34
Первое успешное использование инсулина	35
Открытие гробницы Тутанхамона	36
Коко Шанель: «похороны корсета»	37
«Обезьяний процесс»	38
Продажа Эйфелевой башни Виктором Люстигом	39
Первый беспосадочный перелет через Атлантику	40
Гибель дирижабля «Италия»	41
Открытие пенициллина Александром Флемингом	42
Дуэль хирургов: Форсман против всех	43
Находка карты Пири Рейса	45
«Черный вторник»: крах фондового рынка	47
Эмпайр-стейт-билдинг: небоскреб на человеческих костях	48
Открытие Плутона Клайдом Томбо	50
Соляной поход Ганди	51
Открытие антивещества	52
«Новый курс» Рузвельта	53
Сальвадор Дали и Сюрреалистический бал	55
Ночь длинных ножей	56
«Триумф воли» Лени Рифеншталь	57
Подвиг экипажа самолета «Максим Горький»	58
Появление теории Кейнса	60
Отречение Эдуарда VIII от престола	61

Гибель дирижабля «Гинденбург»	62
Перелет Валерия Чкалова через Северный полюс	63
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Всемирная история: грязная и вонючая Том третий

Леонид Карпов

© Леонид Карпов, 2026

ISBN 978-5-0070-0230-1 (т. 3)

ISBN 978-5-0070-0217-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Сотворение мира в соответствии с гипотезой симуляции

«Нулевой такт» (прошлый четверг или пять минут назад)

Гипотеза Ника Бострома 2003 года. Современная «цифровая» мифология, ставшая популярной после фильма «Матрица». Суть: вероятность того, что мы живем в «базовой» реальности, ничтожно мала. Скорее всего, наш мир — это высокотехнологичная компьютерная симуляция, созданная сверхцивилизацией (возможно, нашими потомками). Законы физики — это просто программный код, а мы — персонажи в грандиозной игре. Момент «творения» здесь — это просто нажатие кнопки «Run» на суперкомпьютере.

Сыро. Вязко. С потолка, облепленного жирными ключьями неопределимой ветоши, капает тяжелое, желтоватое. Оно падает на затылок, стекает за воротник, но шевелиться лень. По коридору протащили козу; коза истошно мемекала, цепляясь копытами за выщербленные плиты пола, и оставила после себя густой дух навоза и прелой шерсти.

— Проснулся, дурень? — прохрипел невидимый в тумане сосед.

Слышно было, как он долго и мучительно сморкается в пальцы, а потом вытирает их об стену. Стены здесь всегда влажные, покрытые белесой плесенью, похожей на застывшую пену у рта эпилептика.

— Говорят, Косой вчера дошел до края, — продолжал голос, перемежаясь kloкочущим кашлем. — До самой Стены. Грыз ее, дурак, зубы крошил. А там — пустота. Серая такая, как кисель. И цифры. Маленькие, подлые, в глазах рябит.

Это и был акт Творения. Великий Оператор, чьих рук никто не видел, однажды просто нажал засаленную клавишу «Пуск», и из небытия выплыли эти бесконечные коридоры, заваленные гнилой капустой и ржавым железом. Мы возникли сразу с этой грязью под ногтями, с этой вечной изжогой и знанием, что завтра будет так же солоно и тошно.

За стеной кто-то долго и методично бил кого-то тазом по голове. Звук был глухой, домашний.

Физика здесь работала неохотно, с одышкой. Тяготение тянуло к земле слишком сильно, словно планета была набита мокрым тряпьем. Свет не лился, а сочился, как сукровица из раны. Все понимали: код несовершенен. Память сервера забита мусором — чьими-то недоеденными обедами, обрывками ругани, старыми калошами. Мы — персонажи, которых забыли удалить, случайные строчки в бесконечном перечне ошибок. Сверхцивилизация, наши лощеные потомки, смотрят на нас, почесывая чистые животы, и удивляются, как в этой жиже еще что-то шевелится.

В проеме показалось лицо — распухшее, с одним глазом, заплывшим багровым мясом.

— Чай пить будешь? — спросило лицо. — Заварка из березовых почек, третья перегонка.

— Давай, — ответил я, чувствуя, как внутри ворочается тяжелая, компьютерная тоска.

Где-то там, за пределами этой слякоти, существует «базовая реальность». Там, наверное, сухо. Там не пахнет кислыми щами и горелой изоляцией. Но шанс попасть туда — как вероятность того, что эта коза заговорит на латыни.

Мы заперты в этом симуляционном бараке. Нас создали по образу и подобию их самых грязных снов. Наше причастие — ржавая вода, наше небо — низкий потолок с пятнами сырости.

Вдруг все на мгновение замерло. Муха остановилась в воздухе, завязнув в пространстве. Сосед застыл с пальцем в носу. Мир дернулся, пошел рябью, как отражение в помойной яме, куда бросили камень. Это «Там» кто-то пролил кофе на пульт или просто решил оптимизировать нагрузку на систему.

Потом все снова пришло в движение. Коза закричала. Грязь хлопнула.

— Опять лагает, — сплюнул сосед, размазывая по подбородку серую жижу. — Видать, скоро совсем отключат.

И в этом была единственная, почти нежная надежда: что когда-нибудь рука Творца потянется к рубильнику, и этот мокрый, хрипящий кошмар наконец-то схлопнется в чистую, абсолютную тьму небытия. Без цифр. Без запахов. Без нас.

Первая мировая война

28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года

Она сожгла четыре империи. Пафос в том, что «война, которая должна была покончить со всеми войнами», на самом деле открыла век массового уничтожения и навсегда разрушила веру в прогрессивную и добрую Европу.

Воздух в окопах густой, как несвежий кисель. Он пахнет хлоркой, гнилой кониной и испражнениями хомно сапиенсов, которые разучились верить в завтра, но все еще обязаны верить в Кайзера. Или в Царя. Или в черта в табакерке — какая разница, если грязь на сапогах у всех одного цвета.

Поручик Кнорр, с лицом, серым, как его шинель, пытается выковырять из уха кусок запекшейся глины. Рядом, в жиже, всплывает чья-то фуражка, а под ней — медленное, тягучее бульканье. Это не стон, это просто газ выходит из земли, которая наелась человечины до икоты.

— Прогресс, — бормочет Кнорр, глядя на то, как по брустверу ползет жирная крыса, таща за собой обрывок кружевного платка. — Электричество, паровозы, телеграф... Теперь мы можем убивать друг друга со скоростью звука, не видя глаз противника. Какая изысканная вежливость.

В небе, затянутом маслянистой гарью, что-то утробно рычит. Это стальная птица, рожденная просвещенным веком, чтобы срать фосфором на головы внуков Гете и Толстого.

В блиндаже пахнет жареным луком и мокрой шерстью. Генерал, похожий на вздувшуюся жабу, тычет пальцем в карту, залитую кофейным пятном. Карта врет. Границы империй расползаются, как мокрый сахар.

— Мы несем цивилизацию, — хрипит генерал, и из его ноздри вываливается капля густой слизи. Он не замечает. — Европа — это свет.

А снаружи свет — это только вспышка магнаия перед тем, как оторвет челюсть.

По траншее волокут раненого. Он молчит, только ритмично бьется затылком о выступы досок. Вдоль стен прижались солдаты — серые тени с водянистыми глазами. У одного в руках обглоданная кость, у другого — молитвенник, из которого вырваны страницы на самокрутки. Бог ушел в отпуск еще в четырнадцатом, оставив вместо себя запах иприта.

— Куда несете, любезные? — спросил Кнорр, глядя мимо них.

— В прогресс, господин поручик! — осклабился санитар, обнажая гнилые зубы. — Там, говорят, за холмом построили машину, которая перемалывает людей в идеальное удобрение. Век просвещения, матушка-гуманность!

Мир, который строился на балах, венских вальсах и вере в торжество разума, с хлопанием погружается в воронку, полную черной жижи. Четыре короны валяются в канаве, и их некому подобрать — руки заняты чесоткой и винтовками.

— Слышите? — Кнорр замирает, прислушиваясь к далекому гулу. — Это весна идет. Век массового производства. Теперь и смерть поставят на конвейер.

Он смеется, и этот смех переходит в сухой, лающий кашель. Из рта вылетает комочек розовой пены. Где-то вдали, за пеленой дождя и дыма, догорает старая Европа — аккуратная, прогрессивная, добрая. Она кричит голосом мула, застрявшего в колючей проволоке, но этот крик тонет в чавканье сапог, шагающих в бесконечную пустоту.

Проход первого судна через Панамский канал

15 августа 1914 г.

Пароход «Анкон» первым пересек перешеек между океанами. Финал «стройки века», стоявшей десятков тысяч жизней, которая буквально разрезала два континента.

Грязь была повсюду — густая, как деготь, и теплая, словно выкипевшая кровь. Она чавкала под сапогами господ в белых кителях, липла к бортам, забивалась в ноздри и уши. Над выемкой Кулебра стоял невыносимый, плотный звон мошкары, перекрывающий хрип задыхающихся паровых машин.

Пароход «Анкон» двигался нехотя, как огромная серая вошь по свежему шраму на теле земли. Его борта терлись о бетон шлюзов с визгом, от которого у конвоиров сводило челюсти. На палубе теснились чиновники; чья-то потная рука в лайковой перчатке судорожно вцепилась в леера, а рядом, в мутной воде за бортом, медленно проплывала раздутая туша мула. Или, может, это был человек — в этой жиже конечности у всех одинаково не гнулись.

— Господи, помилуй, — пробормотал инженер с моноклем, заляпанным желтыми брызгами. У него под ногами пробежала крыса, волоча за собой длинный, голый хвост.

Из джунглей пахло гнилой папайей и старым кладбищем. Пятьсот миллионов кубометров вынудой земли не исчезли — они затаились по краям, готовые в любой момент сползти обратно в канал, похоронить этот нелепый «Анкон» вместе с его оркестром, играющим что-то бодрое и совершенно неслышное за грохотом лебедек.

Кто-то в толпе на берегу зашелся в лающем кашле, выплевывая легкие прямо на ботинки соседа. Сосед не шелохнулся — он смотрел, как стальные ворота Гатуна смыкаются с утробным лязгом, отсекая один океан от другого. Мир развалился надвое. Между хребтами выброшенной породы, в узком коридоре, пахло не триумфом, а карболкой и пережаренным мясом.

В небе висело солнце, тусклое и белесое, как бельмо на глазу великана. Капитан на мостике вытирал лицо платком, который мгновенно становился серым. Никто не улыбался. Все ждали, когда эта огромная железная коробка наконец выберется в соленую воду, подальше от этого рукотворного ада, где за каждый фут глубины заплатили десятком трупов, зарытых тут же, под насыпью, в безымянных ямах, полных известки.

«Анкон» дал гудок. Звук был низким, болезненным, похожим на стон умирающего зверя, который напоследок решил плюнуть дымом в лицо небесам. Континенты разошлись, оставив между собой только эту вонючую, маслянистую щель и торжество человеческого безумия.

«Странная война»: рождественское перемирие

24 декабря 1914 г.

Первая мировая война, окопы Фландрии. Немецкие солдаты начали украшать свои окопы свечами и петь «Тихую ночь». Британцы подхватили. Солдаты враждующих армий без приказа вышли на нейтральную полосу, обменивались табаком, пуговицами и играли в футбол. Высший момент человечности посреди мясорубки. Солдаты осознали, что у них больше общего друг с другом, чем с генералами. На следующее утро командование с обеих сторон отдало приказ расстреливать любого, кто попытается повторить это «безобразия».

Гнилое месиво Фландрии чавкало под сапогами, выплевывая пузыри болотного газа. Воздух, густой от испарений хлорки, немытых тел и кислых испражнений, застревал в горле шершавым комом. Рядовой Пратт, с лицом, серым от вьевшейся копоты, пытался выковырять из уха застрявшую там вошь. Рядом, в жиже на дне траншеи, плавала чья-то разбухшая перчатка — или это была кисть руки? Разобрать в этом серо-буrom киселе было невозможно.

Над бруствером висела тишина, липкая и тяжелая, как сырая шинель. И вдруг сквозь этот ступор прорезался звук. Тонкий, дребезжащий, идиотски неуместный.

— Stille Nacht... heilige Nacht...

Голос доносился из того месива, которое называлось немецкими позициями. Там, в тумане, замигали огоньки. Маленькие, дрожащие точки света — сальные свечи, прилепленные к обрубкам еловых веток.

— Ты глянь, — прохрипел сержант, чьи усы слиплись в одну грязную корку. — Фрицы окончательно сбрендил. Люстры зажгли.

С той стороны высунулась голова в пикельхельме. Она качалась, как кочан капусты на палке. Пратт почувствовал, как в животе заурчало — не от голода, а от какой-то абсурдной, тошнотворной нежности. Он запел в ответ, фальшиво и надрывно, путая слова, но попадая в этот нелепый ритм.

Вскоре они поползли навстречу друг другу. Это не было величественным шествием. Это было копошение насекомых в навозной куче. Солдаты выкарабкивались из нор, скользя на склизкой глине, сплевывая густую мокроту.

На «ничейной земле» воняло одинаково. Пратт столкнулся нос к носу с немцем. У того изо рта пахло гнилой капустой и дешевым табаком — совсем как у самого Пратта. Немец, дергая щекой в нервном тике, протянул ему пуговицу с короной. Пратт в ответ всучил ему засаленную пачку «Вудбайна».

— Gut? — спросил немец, ослабившись гнилыми зубами.

— С пивом потянет, — буркнул Пратт.

Подошедший немецкий фельдфебель с оттопыренными ушами показывал фотокарточку: жирная баба и трое заморышей. Английский сержант кивал, пуская слюну в густую грязь.

Кто-то выкатил кожаный пузырь, набитый тряпками. Началась возня. Грязные тени прыгали в тумане, пиная этот комок грязи. Солдаты тяжело дышали, сталкиваясь плечами, хохоча хриплым, лающим смехом. В этом хаосе, среди колючей проволоки и замерзших трупов, они вдруг стали похожи на пациентов сумасшедшего дома, совершивших массовый побег.

Где-то далеко, за пределами этого гнойника, в чистых кабинетах, пахнущих коньяком и свежими картами, генералы поперхнулись утренним чаем.

На рассвете небо стало цвета застиранной простыни. Туман рассеялся, обнажая неприглядную правду: вчерашние братья по безумию снова стали мишенями. Приказ пришел сухой и ломкий, как сухарь.

— Всем, кто высунет рыло — пулю в лоб. Без разговоров.

Сержант сплюнул черную слюну и передернул затвор. Пратт посмотрел на пуговицу в своей ладони. Она была покрыта ржавчиной и кровью. Мир снова стал правильным: тесным, зловонным и смертельным. Человечность была лишь коротким приступом лихорадки, который успешно купировали свинцом.

Атака мертвецов, или Битва при Осовецкой крепости

6 августа 1915 г.

Оборона крепости Осовец во время Первой мировой. Немцы применили газ (хлор) против русских защитников. Ожидая найти в крепости только трупы, немцы увидели, как из зеленого тумана в контратаку поднялись остатки 13-й роты Землянского полка — люди с обмотанными тряпками лицами, буквально выплевывающие куски своих легких. Вид «живых мертвецов» поверг многотысячное немецкое войско в такой ужас, что они бежали, затаптывая друг друга. Это эталонный момент военного пафоса — победа духа над химическим оружием и смертью.

Зеленая каша варева, густая и липкая, как несвежий кисель, ползла по канавам, облизывая рыжие бока фортов. В этом киселе тонули крысы; они дохли беззвучно, вытянув голые хвосты, и тут же покрывались склизким налетом. Воздух превратился в тертое стекло.

Капитан Котлинский попробовал сплюнуть, но вместо слюны из горла вывалился серый, дрожащий комок — кусок собственного легкого, похожий на сырую печенку. Он вытер рот засаленной тряпкой, которая тут же позеленела. Вокруг, в известковой пыли и хлорном мареве, шевелились тени. Кто-то икал — надрывно, с присвистом, будто внутри человека ломали сухие сучья.

— Братцы... — прохрипел Котлинский. Звук вышел плоским, как удар доской по грязи. — Пойдем, что ли. Негоже так лежать.

Из воронки, наполненной мутной жижей, поднялся поручик. Лицо его было обмотано несвежим исподним, сквозь которое проступала черная сукровица. Один глаз у поручика вытек, и пустая глазница смотрела на мир с недоуменной иронией. Он попытался поправить фуражку, но пальцы, лишенные ногтей, скользили по козырьку.

Они пошли. Это не был бег. Это было медленное, идиотическое шествие сквозь парную вонь. Солдаты 13-й роты вываливались из казематов, как перезрелые плоды из гнилой кожуры. Кто-то шел на четвереньках, извергая из себя густую, пенистую кровь; кто-то волочил винтовку, как тяжелый костыль. Кожа на их лицах лопалась, обнажая желтые челюсти в вечном, застывшем оскале.

Немцы показались впереди — чистенькие, в новеньких противогазах с хоботами, похожие на нелепых насекомых. Они шли уверенно, ожидая увидеть склад мертвечины, аккуратно упакованной хлором.

Но из зеленого тумана на них вышли существа.

Они не кричали «ура». Они не могли кричать — гортани были сожжены. Вместо крика из сотен глоток вырывался клокочущий, хлюпающий звук, будто в огромном котле кипела кровавая каша. Эти «мертвецы» шатались, роняли куски плоти, бинты их хлопали на ветру, как крылья павших птиц. Один солдат, споткнувшись о труп лошади, встал и, не переставая кашлять ошметками плоти, пошел дальше, глядя прямо сквозь немецкие штыки.

В германских рядах что-то хрустнуло. Сначала дрогнул правофланговый — он выронил ружье и начал мелко, по-детски креститься. Потом ужас, густой и осязаемый, как сам газ, накрыл лавину наступающих. Им казалось, что земля выплевывает тех, кого они уже убили.

Многотысячная масса развернулась. Солдаты кайзера бежали, давя друг друга, натываясь на собственные заграждения из колючей проволоки. Они визжали, запутавшись в стальных нитях, а сзади, не торопясь, ступали существа с обмотанными лицами.

Котлинский остановился, оперся о разбитый лафет и снова закашлялся. На землю выпал еще один кровавый лоскут. Капитан посмотрел на него с брезгливым любопытством, придавил сапогом и, криво ухмыльнувшись ошметками губ, двинулся дальше в туман.

Публикация теории относительности Эйнштейна

25 ноября 1915 г.

День, когда человечество официально пересмотрело свои взгляды на пространство, время и гравитацию. Пафос интеллектуального взрыва.

В Берлине стояла такая сырость, будто небо прохудилось над самой Прусской академией наук и в прореху посыпалась кислая капуста вперемешку с мокрым углем. Двадцать пятое ноября. Четверг. День пах кониной, карболкой и застарелым испугом чиновников.

В коридорах было тесно от спин, обтянутых сукном. Кто-то чавкал яблоком, брызгая соком на чужие крахмальные воротнички. Гравитация здесь работала по-особенному: она притягивала друг к другу потные тела, грязные сапоги и запахи немытых подмышек.

Эйнштейн пробирался сквозь этот кисель, задевая локтем чью-то сухую, как вобла, шею. У него в кармане мялись листки — те самые, где пространство прогибалось под тяжестью звезд, как старый матрас под толстым фельдфебелем.

— Позвольте, сударь, вы мне на ногу... — прохрипел старик с орденом, похожим на засохшую яичницу.

— Время относительно, — буркнул Альберт, чувствуя, как за шиворот капает с потолка. — Пока я наступаю, оно тянется, а когда уберу — пролетит.

В зале заседаний было темно и душно. Пахло мокрой псиной и пылью веков. Председатель, похожий на ожившую мумию в пенсне, жевал губами, выуживая из бороды крошку печенья. Мир рушился. Ньютоново яблоко сгнило, превратившись в липкую лужу, а эти люди продолжали сморкаться в огромные клетчатые платки.

Эйнштейн вышел к кафедре. Она шаталась. Под ногами хрустнуло что-то — то ли чей-то карандаш, то ли сустав мироздания. Он начал говорить. Слова вылетали тяжелые, как чугунные ядра, и вязли в этом сером воздухе. Гравитация — это не невидимая веревка, господа. Это яма. Мы все сидим в огромной яме, которую промяло Солнце.

Кто-то в первом ряду громко и долго чихал, утирая нос рукавом. Другой ковырял в ухе мизинцем, внимательно разглядывая добытое. Пафос интеллектуального взрыва тонул в чавканье и скрипе половиц.

— Искривление... — выдохнул Альберт. — Прямых нет. Все кривое. И пространство, и совесть ваша, и этот зал.

Он закончил. Тишина повисла такая, что было слышно, как в углу паук доедает муху. Потом кто-то кашлянул — густо, с хрипом, словно выплюнул легкое. Старик в президиуме медленно, бесконечно долго поднимал руку, чтобы почесать затылок.

Человечество пересмотрело взгляды. Теперь оно знало, что свет гнется, а время — это просто еще один способ опоздать на обед. Эйнштейн шел к выходу. В спину ему летел шепот, похожий на шелест осенних листьев в сточной канаве. На улице все так же моросило. Из подворотни выскочил облезлый пес, волоча в зубах чью-то перчатку. Космос содрогнулся, но Берлин этого не заметил — он был слишком занят поиском дешевой колбасы и борьбой с вечной сыростью в сапогах.

Первый показ «Черного квадрата» Малевича

19 декабря 1915 г.

На выставке «0,10» картина висела в «красном углу», где обычно располагаются иконы. Самый нафосный жест в истории авангарда, обнуливший все предыдущее искусство.

Петроград задыхался в желтой, как гной, измороси. С Невы тянуло тухлой рыбой и гарью замерзших ночлежек. В залах художественного бюро Надежды Добычиной стоял густой, кислый запах мокрого сукна, немых тел и дешевого табака. Кто-то надсадно кашлял за ширмой, сплевывая вязкое в медную плевательницу.

Малевич, суетливый, в помятом пиджаке, пахнущем керосином, лез по шаткой стремянке. Сверху на него сыпалась известка, попадая в прищуренные глаза. Он сопел, вытирая засаленным платком пот со лба. В углу, под самым потолком, где полагалось висеть Спасу или Николаю Угоднику, зияла пустота.

— Левее бери, Казимир, — прохрипел кто-то снизу, ковыряя в зубе обломком спички. — Заваливаешь горизонт-то. Кособоко выходит.

Холст ввалился в пространство с сухим, костяным стуком. Квадрат. Глухой, растрескавшийся, как старая подошва, слой черной краски. В нем не было глубины — только плотная, осязаемая тьма, высасывающая свет из пыльных ламп.

По залу пронесся шепот, похожий на шелест сухих крыс. Дама в лисьей горжетке, изъеденной молью, брезгливо сморщилась и попятилась, задев локтем инвалида на костылях. Тот обернулся, обдал ее перегаром и что-то невнятно прошамкал беззубым ртом. На полу валялась раздавленная мандариновая корка, по ней медленно ползла жирная сонная муха.

— Это что же, — проскрежетал старик в шинели с оторванной пуговицей, — все? Больше не будет березок? И коровушек не будет?

Малевич спустился, тяжело дыша. Его лицо, иссеченное глубокими складками, дернулось в ироничной гримасе. Он смотрел не на людей, а в этот угол, где вместо лика теперь торчала бездонная, геометрически правильная дыра.

— Конец, — бросил он, вытирая испачканные в саже пальцы о штанину. — Обнулилось. Выметайте сор.

В соседней комнате кто-то громко, с хлопаньем сморкался. С улицы донесся крик извозчика и звон разбитого стекла. Искусство кончилось, осталась только сажа, забивающая поры, и этот липкий, неуютный полумрак, в котором все человеческое казалось лишним, неряшливым наростом на чистой, торжествующей пустоте.

Видение Распутина о гибели России

Декабрь 1916 г.

Незадолго до убийства «старец» написал письмо царю: «Если меня убьют твои родственники, то ни один из твоих детей не проживет и двух лет». Момент леденящего душу пафоса, который сбылся с математической точностью в подвале дома Ипатьева.

Снег в Петрограде пахнет мочой, горелым овсом и застарелым страхом. В коридорах Царского Села тесно, как в нутре дохлой лошади. Чей-то локоть толкает в скулу, адъютант с забинтованным ухом сморкается в гардину, пахнет квашеной капустой и дорогим французским мылом, которое не в силах победить вонь гниющих десен.

Григорий сидел за столом, вдавленный в тяжелое кресло, словно врос в него хрящами. Лицо его — серая, изрытая оспой и грехом пашня — лоснилось от пота. Он не писал, он выскребал буквы на бумаге, будто вскрывал нарыв. Перо скрипело, цепляясь за ворс, брызгало чернильной желчью на скатерть, где уже засыхала лужица пролитого чая с плавающей в ней мухой.

— Слышишь, папа? — прохрипел он, не поднимая глаз, заросших густыми бровями, как входом в пещеру. — Хрустит. Это кости твои хрустят под сапогами кузенов.

За стеной кто-то долго и мучительно кашлял, выплевывая легкие в медный тазик. Звякнула шпора. Маленький пудель императрицы, облезлый и дрожащий, ткнулся носом в сапог Распутина, был брезгливо отпихнут и заскулил звуком ржавой петли.

— Если дворяне убьют — устоишь, — бормотал старец, и слюна тягучей нитью повисла на бороде. — А если родичи твои, по крови которые... если они кровь мою на ковры пустят...

Он замер. Взгляд его, мутный и тяжелый, пробил слои сырого тумана, стены, время. Он увидел не дворец, а тесную камору в Екатеринбурге. Запахло гарью, пороховой вонью и парным мясом. Там, в этом подвале, было еще теснее, чем здесь. Стены в подтеках извести, низкий свод давит на темя, и дочки в корсетах, полных зашитых бриллиантов, смешно подпрыгивают, когда пули рикошетят от камней, не в силах сразу пробить драгоценный панцирь.

Распутин дернул щекой. Ему почудилось, что по руке ползет вошь. Он раздавил пустоту пальцами.

— Двух лет не проживут, — выдохнул он в лицо вошедшему лакею, который застыл с подносом, на котором дрожала рюмка мадеры. — Математика такая, милый. Два года — и в яму. Всех. С собаками и поварами. Глиной засыплут, известкой прижгут, чтоб не воняли святостью.

Лакей икнул. На лестнице кто-то уронил медный таз — грохот раскатился по дворцу, как первый залп из пушки, которой еще нет, но которая уже наведена на Зимний.

Григорий поставил жирную точку. Бумага прорвалась. Сквозь дыру в листе виден был грязный ноготь старца — желтый, как кость покойника. Он запечатал конверт, прижав воск большим пальцем так сильно, что под кожей лопнул сосуд.

На улице выла вьюга, перемешивая в одну серую кашу господ, извозчиков и предчувствие великой, бесконечной свалки.

Смерть Григория Распутина

30 декабря (17 декабря по ст. ст.) 1916 г.

Убийство «старца» во дворце Юсуповых. Сочетание яда, пуль и ледяной воды Невы создало самую живучую легенду о «неубиваемом» пророке, падение которого предзнаменовало крах империи.

В подвале Юсуповского дворца пахло не заговором, а сырой известью, пережаренным сахаром и немытым телом. Воздух был густым, как кисель, в нем плавали клочья табачного дыма и чье-то тяжелое, сиплое дыхание. Князь Феликс, бледный до синевы, с подведенными глазами, суетливо поправлял на столе пирожные. Малиновое желе на тарелках дрожало от шагов наверху, где заводили граммофон, чтобы заглушить тишину.

Григорий сидел грузно, развалившись на низком стуле. Борода его, сваливавшаяся и забитая крошками, шевелилась в такт жеванию. Он чавкал — звук был мокрый, непристойный.

— Кушай, Григорий Ефимович, кушай. Сладкое — оно для души полезно, — лепетал Феликс, сжимая в кармане холодную рукоять.

Распутин заглатывал эклеры, начиненные цианистым калием. Яд был свежий, его хватило бы, чтобы уложить роту гвардейцев, но старец только икал. Из угла высунулась чья-то рука, поправила покосившуюся на стене икону и исчезла в тени. В коридоре кто-то протяжно высморкался, послышался звон разбитого стекла и приглушенное ругательство.

— Вино-то... — прохрипел Григорий, вытирая рот засаленным рукавом. — Вино у тебя, мил человек, кислит. Душу не греет.

Он выпил бокал мадеры, тоже отравленной, и вдруг замер. Глаза его, мутные, подернутые пленкой, как у дохлой рыбы, медленно поползли вверх. Юсупов затаил дыхание, ожидая, что «святой черт» сейчас рухнет, пуская пену. Но Григорий только шумно пустил ветры и осклабился, обнажив гнилые зубы.

— Скучно у тебя, Феликс. Рожи вокруг ненастоящие. Империя гниет, а ты все пирожными балуешься.

Тогда выстрелили. Пуля вошла в спину с чмокающим звуком, будто в мокрую глину. Распутин повалился, забился на полу, изрыгая не то молитвы, не то проклятия. В подвал ворвались остальные — Пуришкевич в нелепом пенсне, великий князь, офицеры. Все суетились, толкались, наступали друг другу на ноги. Кто-то задел подсвечник, и в полумраке заматались уродливые, изломанные тени.

Старец жил. Он поднялся на четвереньки, волоча за собой тяжелое, пробитое свинцом тело. Он лез по лестнице, оставляя на ковре жирный, черный след. На дворе, в снежной круговерти, в него палили снова. Пуришкевич, задыхаясь от мороза и ненависти, всадил пулю в затылок. Распутин упал лицом в сугроб, но пальцы его все еще скребли мерзлую землю, пытаясь ухватиться за ускользающую реальность.

Его вязали веревками, спешно, путаясь в узлах. Тело грузили в автомобиль, который никак не хотел заводиться, чихая и выбрасывая облака вонючего дыма. У пролета Большого Петровского моста его сбросили в полынью.

В ледяной воде Невы, под толщей черного льда, Григорий Ефимович открыл один глаз. Вода заполняла легкие, вытесняя остатки земного смрада. Он не тонул — он впитывался в эту реку, в этот город, в эту страну. Вверху, над кромкой льда, Империя уже начала свой медленный, бестолковый танец в сторону бездны, сопровождаемый хохотом юродивых и скрежетом ржавого железа.

Отречение Николая II от престола

15 марта (2 марта по ст. ст.) 1917 г.

В вагоне поезда под Псковом закончилась 300-летняя история династии Романовых. Запись в дневнике царя: «Кругом измена, и трусость, и обман!»

Стены вагона потели. По рыхлым обоям ползла серая склизкая сырость, смешиваясь с запахом пережаренного лука, дешевого табака и застоявшегося подрысника. В углу, за штабелем ящиков, кто-то невидимый натужно кашлял, выплевывая вместе с мокротой куски легких в медную плевательницу.

Николай сидел у окна. Его шинель казалась слишком тяжелой, набитой мокрым песком. На коленях дрожал лист бумаги — не документ, а какая-то кухонная записка, помятая и пахнущая керосином.

— Ваше Величество, извольте... — просипел адъютант, чье лицо напоминало разваренную картофелину. Он сунул государю под нос засаленное перо. — Там, в тамбуре, генералы махорку курят. Смеются. Слюни на пол пускают, дураки.

В проходе застрял денщик с огромным медным тазом. Он боком протискивался сквозь тесноту, обтираясь задом о расшитые мундиры. Чей-то сапог, измазанный в конском навозе, уперся царю в голень. В воздухе висела густая взвесь: пыль, пар от дыхания и невнятный шепот.

— Кругом измена... — пробормотал Николай, глядя, как по стеклу сползает жирная капля. — И трусость. И обман.

Снаружи, за мутным окном, станция Псков тонула в хлюпающей грязи. Солдаты в лохматых папах тащили куда-то мешок с овсом, спотыкались, падали мордами в жижу, и никто не спешил подниматься.

В вагон ввалился Гучков. Он пах холодом и сырой кожей. Его пенсне запотело, превратив глаза в два белых слепых бельма. Он долго сморкался в огромный клетчатый платок, издавая звуки, похожие на предсмертный хрип лося.

— Подпишите, полковник, — бросил он, не глядя. — Чаю нет, дрова кончились. В Петрограде макароны подорожали, народ в канавы мочится.

Царь взял перо. Оно было обгрызено. Из темного угла купе высунулась чья-то рука, покрытая язвами, и схватила со стола недоеденный сухарь. Николай не шелохнулся. Он вывел буквы медленно, ощущая, как трехсотлетняя пыль династии оседает у него на языке привкусом ржавчины и старой крови.

За дверью что-то с грохотом упало. Послышался глумливый хохот и звук рвущейся ткани. Кто-то запел гнусаво, мимо нот, про «степь да степь кругом». В тамбуре смачно сплюнули.

Николай посмотрел на свои пальцы — желтые, тонкие, ненужные. Скомканная история империи легла на липкий столик рядом с пустой чашкой, на дне которой плавал дохлый комар. Снаружи завыл паровоз — звук был похож на крик юрдового, которому прищемили палец дверью.

Выступление Владимира Ленина на броневике

16 апреля (3 апреля по ст. ст.) 1917 г.

Момент «пришествия» вождя, изменивший ход мировой истории. Ленин возвращается из эмиграции в «пломбированном вагоне». На площади перед Финляндским вокзалом в Петрограде он забирается на броневик и под свет прожекторов выкрикивает: «Да здравствует социалистическая революция!». В атмосфере хаоса и неопределенности появился человек с четкой волей. Этот жест на броневике стал каноническим образом: момент, когда слово превращается в действие, ведущее к Октябрю.

В вагоне пахло кислыми щами, застарелым табачным перегаром и мокрой шерстью. Липкий сумрак сгустился в углах, где копошились тени — чьи-то локти, котелки, хриплое дыхание. Финляндский вокзал встретил их не триумфом, а слизью под ногами и воем ледяного ветра, гуляющего по перрону.

Человек в котелке, с рыжеватой бородкой и лихорадочным блеском в прищуренных глазах, вывалился из нутра поезда в вязкий петроградский туман. Его окружили шинели, папахи, перегарище и штыки, торчащие в разные стороны, как иглы взбесившегося ежа. Кто-то сунул ему в руки рабочую кепку и букет увядших цветов, похожих на веник для бани; кто-то выругался в темноте, смачно сплюнув на сапог соседа.

— Сюда, Ильич! Сюда, батюшка! — сипели голоса, толкая его сквозь толпу, пахнущую дегтем и несвежим бельем.

Его взгромоздили на холодное, склизкое железо. Броневик «Враг капитала» стоял посреди площади, как выпершая из земли железная опухоль. Вокруг бесновалась темнота. Ослепительные лучи прожекторов разрезали сырой воздух, выхватывая из небытия то беззубый рот, зашедшийся в крике, то грязную ладонь, вцепившуюся в заклепку машины. Морось превращала свет в густой кисель.

Ленин пошатнулся, поймал равновесие, вцепившись пальцами в холодную сталь. Снизу, из месива лиц и пара изо ртов, несло восторгом и животным страхом. Грянул оркестр — фальшиво, медно, вразнобой, заглушая чавканье сапог по лужам.

Он сорвал кепку, обнажив высокий, лоснящийся в лучах лоб. Ветер тут же хлестнул по лицу мелкой ледяной крупой. Он не говорил — он выплевывал слова, как дробь, в эту хлопающую, кашляющую массу:

— Да здравствует... — голос сорвался на высокой ноте, утонул в гудке паровоза, — ... социалистическая революция!

Слова падали в грязь и тут же втапывались тысячами подошв. В этом не было стройности марша, только хаос, скрежет металла о металл и абсурдная уверенность маленького человека на стальной туше. Где-то в стороне лошадь, испугавшись света, с натужным стоном опоржнялась прямо на мостовую, и этот запах — навоза, пороха и весны — стал запахом новой эпохи.

Он стоял, растопырив пальцы, похожий на безумного дирижера, решившего заставить оркестр играть на разбитых горшках. Мировая история хрустнула под колесами броневика, как кость, и потекла дальше, захлебываясь собственным кашлем.

Явление Девы Марии в Фатиме

13 мая 1917 г.

Трое детей-пастушков в Португалии заявили о встрече с «Дамой в белом». Событие породило знаменитые «Фатимские пророчества» о судьбах мира и России.

Воздух в Кова-да-Ирия кислый, густой, перемешанный с запахом овечьей мочи и прелой коры. Жары нет, есть только липкая, серая хмарь, облепляющая лица, словно мокрая марля.

Лусия, с лицом серым и плоским, как невыпеченная лепешка, ковыряет в ноздре грязным пальцем. Рядом хлюпает носом Франсишку; у него из прорехи в штанах торчит костлявое колено, измазанное в свежем навозе. Жасинта, крохотная, похожая на испуганного сыча, икает — размеренно, тяжело, с надрывом.

— Гляди, — шепчет Лусия, не вынимая пальца из носа.

Над скрюченным каменным дубом, чьи ветви напоминают суставы подагрика, разливается не свет, а какая-то фосфоресцирующая гниль. Дама в белом не висит в воздухе — она в него впаяна. Белизна ее одежд слепит не святостью, а стерильностью хирургического кабинета в захолустной больнице, где пахнет йодом и застарелым гноем.

— Страшно-то как, — бормочет Франсишку, вытирая губы засаленным рукавом.

Дама шевелит губами. Звука нет, только свист в ушах, как от сквозняка в пустой бочке. Она кажется слишком маленькой для неба и слишком большой для земли. Вокруг нее суетятся какие-то тени: то ли мухи, то ли ангелы с оборванными крыльями, то ли просто сор, поднятый случайным вихрем.

Лусия кивает, и в ее зрачках отражается что-то несусветное: железные колеса, давящие мерзлую землю, снег, перемешанный с кровью, и огромная, безглазая равнина, которую Дама называет «Россией». Название звучит как хруст кости под сапогом.

— И что нам с того? — спрашивает Лусия в пустоту, почесывая плечо под грубой дерюгой.

В ответ — тишина, прерываемая лишь чавканьем овцы, жующей колючий чертополох. Дама начинает таять, оставляя после себя запах озона и несвежего белья.

Пастухи стоят в грязи, маленькие, нелепые, придавленные небом, которое снова стало обычным — свинцовым, низким, не сулящим ни дождя, ни прощения. У Жасинты по подбородку течет слюна. Франсишку пытается поймать муху. Мир вокруг продолжает гнить, хлюпать и ворочаться в своей тесной, душной колыбели, не подозревая, что ему только что вынесли приговор на непонятном языке.

Штурм Зимнего дворца

7 ноября (25 октября по ст. ст.) 1917 г.

Выстрел крейсера «Аврора» и захват власти большевиками. Начало советской эпохи, определившей облик всего XX века.

Петроград пух от сырости и дурного предчувствия. Небо висело над Невой грязной, застиранной рогожей, из которой сочилась мелкая, как рыба чешуя, изморось. На набережной пахло гнилой капустой, мазутом и перегоревшим страхом.

Крейсер «Аврора» в тумане казался не боевым кораблем, а выплывшим из бездны железным китом, у которого вместо плавников — ржавые заклепки. Матрос с лицом, похожим на перепеченную буханку, ковырял в зубах обломком спички. Вокруг него суетились тени в черных бушлатах, кто-то кашлял — надрывно, с хрипом, выплевывая на палубу серые комки.

— Пали, что ли? — просипел кто-то невидимый, запутавшись в обрывках телефонного провода.

Грянуло. Звук выстрела не был героическим — он был плоским и тяжелым, как удар мокрой доской по голове. Звук этот вяз в тумане, рикошетил от гранитных парапетов и вползал в уши горожан вместе с холодной сыростью.

У Зимнего дворца царил сутолока абсурда. Юнкера, похожие на испуганных воробьев, кутались в шинели не по размеру. У одного из них текла из носа кровь, перемешиваясь с дождевой водой на воротнике. Женский батальон теснился в дверях, кто-то истошно искал потерянную галошу. Пахло мокрой шерстью и дешевым табаком.

Двери дворца поддались не с грохотом, а с каким-то постыдным скрипом. Толпа хлынула внутрь — месиво из папах, кожанок и засаленных кепок. В залах, где еще вчера пахло лилиями, теперь стоял густой дух пота и махорки. Солдаты тыкали штыками в gobelены, не из ненависти, а просто так, от избытка телесности. Кто-то мочился в вазу екатерининских времен, сосредоточенно глядя на лепнину потолка.

Министры Временного правительства сидели в Малой столовой, сбившись в кучу, как куры на насесте. У Керенского (точнее, у того, кто за него остался) дрожало веко. Вошел Антонов-Овсеенко — в нелепой шляпе, с лицом бледным, как невываренная кость.

— Именем военно-революционного... — сипит он, потирая воспаленный глаз.

В этот момент в залу вваливается пьяный кочегар с огромным патефонным рупором под мышкой. Он спотыкается, рупор с грохотом катится по полу, собирая пыль и окурки. Кочегар икает, смотрит на свергнутую власть и иронично кривит рот:

— Кончилось ваше время, благородия. Теперь наша вонь главная будет.

За окном занимается серый, липкий рассвет. В небе над Невой висит что-то среднее между дымом и туманом. Новая эпоха началась с того, что в Зимнем дворце разом засорились все туалеты, а по парадной лестнице, тяжело дыша и толкая друг друга локтями, пополз великий и страшный двадцатый век.

Пандемия «испанки»

1918 — 1920 годы

Момент величайшей биологической трагедии XX века. Пафос в том, что за два года вирус убил больше людей (от 50 до 100 млн), чем все пули и снаряды Первой мировой. Мир осознал свою полную беззащитность перед микроскопическим врагом.

Сырой ноябрьский туман вползал в переулки Петербурга — или того, что от него осталось, — липким киселем. Воздух густой, набрякший вонью гнилой капусты, хлорки и немывших тел. Под ногами чавкала черная каша из снега и конского навоза.

Граф Олсуфьев, в шинели с оторванным хлястиком и с лицом цвета старой замазки, стоял в очереди за кипятком. Из носа у него безостановочно капало розовое, сукровичное. Он не вытирал.

Рядом какой-то матрос в бескозырке без лент яростно чесал под мышкой, выковыривая вошь, и вдруг зашелся в кашле. Кашель был глубокий, утробный, будто внутри у человека ворочали ржавую цепь. Матрос выплюнул на мостовую нечто серо-зеленое с прожилками яркой, почти веселой алой крови и уставился на плевок с тупым недоумением.

— Чихали мы на мировую буржуазию, — прохрипел он, вытирая рот засаленным обшлагом. — А тут, гляди, невидимая вошь грызет. Без винтовки, паскуда.

В подворотне взвыла собака — тонко, на одной ноте. Из дверей доходного дома вынесли чье-то тело, завернутое в пестрое байковое одеяло. Ноги покойника, обмотанные тряпьем, смешно и нелепо бились о ступени: тук, тук, стук. Санитар в марлевой повязке, серой от грязи и дыхания, споткнулся, выругался густым матом и сплюнул в сторону. Повязка сползла, обнажив десну, изъеденную цингой.

— Пятый за утро, — бросил он напарнику. — И все синие. Как баклажаны, прости господа.

Мир сузился до этого хрипа и синевы. Газеты на стенах, расклеенные поверх старых афиш с улыбающимися кокотками, кричали о победах пролетариата, но буквы расплывались под дождем. Микроскопическая смерть не читала декретов. Ей было плевать на пулеметы «максим» и на то, кто теперь хозяин в Зимнем. Она заходила в легкие тихо, по-хозяйски, превращая их в хлюпающую губку.

В окне второго этажа показалось бледное лицо ребенка. Мальчик прижался лбом к стеклу, оставляя мутный след. Он медленно облизывал стекло, ловя конденсат, а за его спиной в глубине комнаты кто-то методично, мерно бился головой о стену. Ритм этого стука сливался с грохотом проезжающей телеги, доверху набитой голыми, переплетенными конечностями. Рука, свисающая с края, раскачивалась в такт выбоинам, словно прощаясь со всеми, кто еще стоял в очереди за своим последним кипятком.

Пахло не историей, не пафосом великих перемен. Пахло мокрой шерстью, прокисшим вином и безнадежностью. Великая биологическая трагедия обернулась будничным хлюпаньем в горле. Все пули мира оказались игрушками по сравнению с этим невидимым, разлитым в воздухе бульоном, в котором человечество барахталось, как муха в густом сиропе, медленно теряя волю к движению.

Олсуфьев наконец протянул свою кружку. Кипяток лился мимо, обваривая пальцы, но он не чувствовал боли. Он смотрел, как в сером небе над шпилем Петропавловки кружит одинокая ворона, и вдруг понял: птице все равно. И вирусу все равно. А человек — это просто удобный мешок с теплой жидкостью, который так забавно лопается под тяжестью невидимой пяты.

Он глотнул воды, поперхнулся и зашелся в том самом, знакомом хрипе. Мир вокруг окончательно потерял резкость, превращаясь в бесконечное, грязное, копошащееся «ничто».

Олсуфьев внезапно понял, что завтра его тоже будут тащить за ноги по мостовой. Тук-тук. Тук-тук.

Дуэль Маяковского и Северянина за право называться гением

27 февраля 1918 г.

В большой аудитории Политехнического музея прошел «Поэзозвечер», где выбирали «Короля поэтов». Северянин читал свои «ананасы в шампанском» нараспев, а Маяковский гремел басом, ломая ритмы. Публика неистово спорила. Победил Северянин. Маяковский в ответ надел мантию из красного знамени и заявил, что «короли больше не в моде». Это был момент столкновения эстетики уходящего изящества и грядущей грубой силы революции.

В большой аудитории Политехнического пахло мокрой шерстью, карболкой и несвежим человеческим дыханием. Воздух, густой и серый, застаивался слоями; сквозь него, как сквозь мутный бульон, прорывались звуки. Где-то в задних рядах надсадно кашляли, сплевывая на затоптанный паркет; чей-то локоть в грязном сукне постоянно тыкался в скулу соседа.

Северянин стоял на возвышении, вытянутый, как бледный глист в визитке. Он не читал — он выпевал, закатывая глаза к облупившейся лепнине потолка.

— Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! — летело в толпу, словно липкое, засахаренное пирожное, упавшее в уличную грязь.

Голос его дребезжал тонко, изысканно-противно. По залу полз ропот. Лица слушателей, искаженные усталостью и недоеданием, казались восковыми масками в парах табачного дыма. Кто-то чавкал, догрызая корку; кто-то сморкался в пальцы, не сводя глаз с поющего павлина.

Затем вышел Маяковский. Он не вошел — он вломился в пространство, раздвигая плечами липкую духоту. Громадный, нескладный, с челюстью, похожей на заступ. Его бас ударил под дых, вышибая из легких остатки кислорода. Ритмы ломались, как сухие кости под сапогом. Он не пел о фруктах — он вколачивал слова, как кровельные гвозди в черепную коробку этой задыхающейся аудитории.

— Долой! — взвизгнул кто-то из «партерных» дам, кутаясь в облезлую лису. — Грубиян! Мясник!

Толпа забурлила, как нужников ров. Голоса слились в нестройный гул, в свист и хрип. Когда объявили, что «королем» избран Северянин, по залу пронесся вздох облегчения — старый мир цеплялся за свои кружевные панталоны.

Маяковский криво усмехнулся. Рот его, полный крупных зубов, походил на разверстую рану. Из-под скамьи он вытянул кусок грубого кумача — тяжелое, пахнущее краской и порохом полотнище. Накинул на плечи, точно мантию палача. Красный цвет в тусклом свете ламп казался бурым, запекшимся.

— Короли? — выдохнул он, и от этого шепота у первого ряда заложило уши. — Сдохли ваши короли. Мошь съела.

Он стоял, огромный и нелепый в этом кровавом тряпье, а вокруг копошились маленькие, серые люди, вытирая потные лбы. Эстетика изящных жестов захлебнулась в кашле. Грядущее пахло не шампанским, а сырой землей и немытым телом, и оно уже входило в зал, тяжело дыша в затылок каждому.

Первый Кубанский («Ледяной») поход

13 апреля 1918 г.

Гибель генерала Корнилова под Екатеринодаром. Момент рождения легенды Белого движения: горстка людей против целой армии в ледяных степях.

Слизь перемешана с колотым льдом, и в этой каше, чавкая, вязнут сапоги. Воздух густой, как кисель, пахнет прелой овчиной, дегтем и немытым телом, которое уже перестало бояться смерти, но очень хочет в тепло. Под Екатеринодаром весна не наступила — она просто сгнила, не успев расцвести.

Генерал Корнилов сидит в натопленной хате на окраине фермы. С потолка капает. Кто-то за дверью долго, надсадно харкает, а потом бьет лошадь по морде — звук глухой, как по сырому дереву. В углу хаты, на иконе, муха ползет по лику Спасителя, оставляя за собой едва заметную нитку нечистот. Корнилов смотрит на карту, но карта промокла, углы загнулись, и кажется, что штабные чернила — это просто свежая кровь, размазанная по серой бумаге.

— Ваше превосходительство, — шепчет адъютант. У него ухо обморожено, черное, похоже на сушеный гриб. — Снаряды летят. Совсем близко.

Корнилов не отвечает. Он поправляет френч. Пуговицы тусклые, в их отражении мир кажется кривым и перевернутым. Снаружи — чавк, хлюп, лязг. Горстка людей, обмотанных тряпьем вместо портянок, стоит против серой хмари, которая дышит гарью и перегаром. Это не армия — это стихия, ледяной фарш, который решил, что он имеет право судить.

Удар.

Звук не громовой, а какой-то бытовой, будто огромный кухонный шкаф рухнул в соседней комнате. Хата содрогается. С потолка летит труха, щепа, чей-то чужой волос. Пыль забивает ноздри, мешаясь с запахом пороха. Корнилов медленно оседает. Он не падает героически, зажав рану рукой. Он просто становится частью этой земляной жижи. Его фуражка отлетает в угол, прямо к той самой мухе.

— Убили... — воет кто-то на улице. — Лавра Георгиевича пришибло!

Голос срывается на фальцет, переходя в икающий смех. Белое движение рождается в этот момент — не под звон литавр, а в облаке известки и запахе потрохов. Офицеры в ледяных корках вместо шинелей смотрят на дыру в стене. Там, за дырой, — только белое ничто, бесконечная степь, где ветер гоняет обрывки газет и замерзших ворон.

Кто-то лезет в карман покойника за табаком. Пальцы дрожат, ногти черные, с запекшейся каймой. Смерть генерала — это просто еще одна подробность общего неуютного быта. Теперь их никто не поведет, а значит, можно просто идти вперед, пока ноги не отвалятся.

Легенда начинается с того, что живые завидуют мертвому, потому что ему больше не надо выковыривать лед из-под ногтей. В сером небе висит мутное солнце, похожее на жирный глаз, который лениво наблюдает, как горстка вшей в погонах уходит в бесконечную, хлюпающую мглу.

Расстрел семьи Романовых

17 июля 1918 г. (около 02:00 ночи)

В подвале ипатьевского дома в Екатеринбурге была поставлена кровавая точка в истории Российской империи.

Сырой туман Екатеринбурга лезет в щели, перемешиваясь с запахом немых тел, жженой махорки и скисших щей. В доме Ипатьева душно, как в брюхе издохшего кита. Часы хрипят, прежде чем выплюнуть два удара.

— Вставайте, — рычит голос, обросший щетиной и перегаром. — В городе беспокойно. Спустимся вниз, для безопасности.

Они идут по коридору — странная, нелепая процессия теней. Бывший император тащит на руках сонного, обмякшего мальчика; у мальчика тонкая шея и подбитый коленвал судьбы. Александра Федоровна плывет, задрав подбородок, цепляясь за остатки невидимого корсета, а за ней, шурша юбками, в которые зашиты фунты бриллиантов, семят дочери. Бриллианты трутся о кожу, царапают плоть — мертвый блеск под грязным полотном.

В полуподвале пахнет известкой и крысиным пометом. Комната голая, как обглоданная кость.

— Стулья принесите. Даме сидеть не на чем, — цедит Юровский. Его лицо — маска из застывшего жира, глаза — две дырки в никуда.

Приносят два стула. Николай садится, качнувшись, как старая кукла. Рядом — сын, бледный, с открытым ртом, в котором блестит слюна. Остальные жмутся к стене, к обоям с дурацким цветочным узором, который в этой тесноте кажется сетью.

Вваливаются люди. Много людей. От них веет чесноком, оружейной смазкой и той особенной, потной бодростью, что бывает у мясников перед сменой. Юровский вытаскивает из кармана измятый листок, читает быстро, глотая окончания, будто торопится к девке или в нужник:

— ...ввиду того, что ваши родственники продолжают наступление... Уралсовет постановил...

— Что? — переспрашивает Николай. Голос у него тонкий, домашний, совершенно лишний в этой каменной коробке.

— А вот что! — Юровский вскидывает маузер.

Мир лопается. Звук в подвале не катится эхом, он вязнет в плоти. Пороховой дым, густой и сизый, моментально забивает легкие, превращая комнату в мутный аквариум. Пули свистят, рикошетят от каменных стен, впиваются в штукатурку.

Это не пафосная гибель — это куча мала в тесной яме. Фрейлина мечется, закрываясь подушкой, из которой летит пух, перемешиваясь с кровавой моросью. Дочери в своих корсетах-панцирях оказываются почти бессмертными: пули звонко отскакивают от скрытых в лифах алмазов, превращая расстрел в абсурдную пытку.

— Коли их! Коли штыком! — орет кто-то, захлебываясь кашлем.

Сапоги скользят по полу, ставшему вязким. Повар падает в углу, прижимая к животу невидимую кастрюлю. Горничная кричит — долго, на одной высокой ноте, пока хруст стали не обрывает этот звук. Мальчик на полу дергается, как пойманный выюн, Юровский в упор разряжает в него обойму, и по лицу палача течет чужая, теплая юшка.

Дым стоит такой, что не видно собственных рук. Только хрипы, всхлипы и металлический лязг. Империя догорает запахом жженого волоса и потрохов. Когда тишина наконец вваливается в комнату, слышно лишь, как где-то за стеной капает вода и тяжело, с присвистом дышит убийца, вытирая рукавом забрызганное пенсне.

В углу дохнет собака. Тихо, по-будничному.

Покушение на Ленина: выстрелы Каплан

30 августа 1918 г.

Владимир Ленин выступал на митинге на заводе Михельсона без охраны. После речи, у автомобиля, полуслепая эсерка Фанни Каплан трижды выстрелила в него. Ленин упал, но выжил. Это событие запустило машину «Красного террора». Момент, когда три пули маленькой женщины стали поводом для изменения судьбы миллионов и окончательного ожесточения революции.

Заводской двор Михельсона задыхался в мазутной хмари и запахе прокисшей капусты. Серое небо, низкое, как потолок в допросной, придавливало толпу к щербатому булыжнику. Люди — комья грязного сукна и небритого мяса — копошились, толкались локтями, сплевывали под ноги густую черную слюну. Где-то в стороне истошно визжала пила, и этот звук ввинчивался в череп, мешаясь с хриплым, картавым лаем, доносившимся с трибуны.

Ленин стоял на возвышении, маленький, в помятом пальто, похожий на встревоженного суслика. Он рубил воздух короткой ладонью, и слова его, тяжелые, как чугунные болванки, падали в толпу, но не зажигали, а только глубже вминали людей в грязь. Охраны не было — лишь какой-то матрос с бельмом на глазу лениво ковырял в носу штыком, глядя в пустоту.

Когда он пошел к автомобилю — неуклюжему черному чудовищу, фыркающему сизым дымом, — пространство вдруг сузилось. Воздух стал плотным, как кисель. Из толчеи, мимо потного шофера Гиля, вынырнула женская фигура. Фанни. Она шурилась, глядя сквозь толстые линзы очков, которые запотели от сырости. Лицо ее, бледное и острое, напоминало морду испуганной крысы. Рука в засаленной перчатке дрожала, вытягивая тяжелый «Браунинг».

Хлопки были сухими и ничтожными, похожими на треск лопнувших гнилых досок.

Первая пуля вошла в плечо, развернув тело вождя, как тряпичную куклу. Вторая ударила в шею. Ленин не закричал. Он как-то нелепо, по-детски охнул, схватился за горло, и сквозь пальцы потекла темная, почти черная жидкость, мгновенно впитавшаяся в пыльное сукно. Он осел на подножку машины, ткнувшись лицом в холодный металл крыла. Вокруг засуетились, кто-то уронил котелок с водянистой кашей, кто-то завыл тонко, по-собачьи.

Каплан стояла неподвижно, глядя в пространство своими незрячими глазами, пока чьи-то тяжелые сапоги не вмяли ее лицо в мазутную лужу.

В этот миг что-то окончательно лопнуло. Сквозь лязг заводских цепей и чавканье грязи проступил новый звук — гул огромной, безжалостной машины, у которой сорвало тормоза. Три свинцовых кусочка, выпущенные полуслепой женщиной, не убили человека, но убили остатки жалости. Над страной поплыл тяжелый запах железа и свежей крови: колеса «Красного террора» провернулись в первый раз, перемалывая в кашу кости, сословия и саму надежду на тишину.

Дебют писательницы Агаты Кристи

1920 год

Выход романа «Загадочное происшествие в Стайлзе». Пафос рождения Эркюля Пуаро и целого жанра «уютного детектива». Момент, когда убийство в литературе стало интеллектуальной игрой, отвлекающей людей от ужасов реальности.

Стайлз-Корт задышался в мазутной хмари 1920 года. В коридорах пахло кислыми щами, формалином и старой кожей — запах войны, которую только что выставили за дверь, но она все равно подглядывала в окна, вытирая гнойные глаза краем занавески.

Миссис Инглторп лежала на кровати, изогнутая дугой, как пересушенная вобла. Пальцы ее судорожно скребли простыню, выдирая нитки с таким звуком, будто кто-то пилил сухую кость. Рот ее был открыт, являя миру желтоватый налет на языке и остатки непереваренного ужина, застрявшие в щелях между зубами. Стрихнин — он ведь не терпит изящества; он выворачивает нутро наружу, превращая человека в нелепое насекомое, приколотое булавкой к грязному матрасу.

В углу, в тени огромного, покрытого пылью шкафа, шевелилось нечто маленькое и яйцообразное. Это был беженец. Из него, как из дырявого самовара, сочилась вежливость, перемешанная с параноидальной страстью к симметрии.

— Пти-дежёне был подан не вовремя, — пропищал он, поправляя воротничок, который впивался в его жирную шею так сильно, что кожа над ним нависала синюшным валиком. — Хаос. Повсюду хаос. У нее даже судорога легла неровно. Несимметрично!

Он подошел к телу, обходя лужицу пролитого какао. Под ногами хрустнуло — то ли осколок стакана, то ли чей-то потерянный зуб. Пуаро — так звали это существо с лакированными штиблетами — достал крошечную щеточку и принялся чистить рукав покойницы, игнорируя ее выпученные глаза. Его усы, закрученные с жестокостью инквизитора, дрожали.

Труп был скупен, он был частью физиологии, которую следовало немедленно упаковать в герметичную коробочку логики. Убийство здесь не пахло кровью — оно пахло лавандовым мылом и свежесваренным чаем. Смерть превращалась в ребус, в аккуратную расстановку шахматных фигур на засаленной скатерти бытия.

— Видите ли, Гастингс, — пробормотал Пуаро, обращаясь к человеку, который стоял у окна и бессмысленно ковырял пальцем дырку в обоях. — Смерть — это всего лишь беспорядок. Грязная клякса на скатерти цивилизации. Если мы найдем того, кто капнул, мы сможем сделать вид, что войны не было. Что миллионов гниющих тел в траншеях Соммы не существует. Есть только этот стакан, эта комната и мой чистый платок.

Гастингс обернулся. Его лицо было бледным, как вареная репа.

— Но она ведь синяя, Эркюль. Она совсем синяя и пахнет... нехорошо.

— Это дедукция, мой друг, — Пуаро брезгливо поднял с пола обрывок завешания, выпачканный в чем-то буром. — Мы упакуем этот ужас в коробочку. Мы превратим предсмертный хрип в логическую задачу. Один яд, один запертый дом, один убийца. Никаких газовых атак, только уютное, домашнее предательство. Это так... успокаивает.

Снаружи, за стенами Стайлза, мир продолжал кашлять кровью и разваливаться на куски. А здесь, в густом мареве абсурда, маленький человечек в тесном пальто уже раскладывал улики, как пасьянс на груди мертвеца. Он строил забор из логики, чтобы не видеть бездны.

— Все в гостиную! — крикнул он, и его голос сорвался на визг. — Будем играть в правду! У кого руки чище всех, тот и виноват!

По лестнице потащились домочадцы — серые, с тяжелыми подбородками и сальными волосами. Они шли, спотыкаясь о ведра и задевая плечами низкие притолоки, в эту новую эпоху, где убийство стало единственным способом сохранить рассудок.

Великий Сибирский Ледяной поход

14 ноября 1919 — март 1920

Отступление армии Колчака через заледеневший Байкал. Тысячи людей, замерзших заживо в ледяной пустыне, стали символом трагического пафоса Гражданской войны.

Снег пахнет ржавым железом и застарелым навозом. Ветер не воет, он чавкает, забивая рот ледяной крошкой, перемешанной с лошадиным волосом. Впереди, в серой мути, колыхается спина поручика Ветлугина; на его шинели, в аккурат между лопатками, присох рыжий комок чьих-то выбитых зубов. Откуда они там — бог весть, да и кто станет спрашивать.

Генерал Каппель, замотанный в башлык так, что видны только слезящиеся, красные щелки глаз, едет верхом. Его ноги, обмороженные до черноты, превратились в тяжелые коряги, чужие и бесполезные. Лошадь под ним хрипит, из ее ноздрей вылетают кровавые сосульки. Каппель беззвучно шевелит губами, словно жует невидимую вошь.

— Ваше превосходительство, — доносится чей-то надтреснутый фальцет из тумана. — У юнкера Попова ухо отвалилось. Прямо в суп.

Никто не смеется. Юнкер Попов, мальчишка с прозрачным носом, тащит за собой облезлую санную упряжку. На санях лежит грудa заиндевевшего тряпья — то ли раненые, то ли штабные архивы. Из тряпья торчит синюшный кукиш.

Байкал под ногами — не лед, а застывшее, вывернутое наизнанку небо. Сквозь толщу видно, как в глубине плавают огромные, сонные рыбы, смотрят холодными глазами на проходящее сверху безумие. Кто-то оступается, падает в глубокую трещину; звук падения короткий, как хлопок лопнувшей кишки. Оставшиеся даже не оборачиваются. В носу у всех — вязкая, замерзшая сукровица.

У обоза стоит штабс-капитан, пытается прикурить. Спички ломаются, пальцы у него белые, как очищенная редька. Он вдруг бросает коробок и начинает истошно, тонко хохотать, тыча пальцем в замерзшую лошадь, которая так и осталась стоять, впаянная копытами в торосы, с вываленным, сиреневым языком.

— Господа! — орет штабс-капитан, захлебываясь кашлем. — Господа, а ведь Россия-то — круглая! Мы просто зашли с обратной стороны!

Его бьют прикладом по затылку. Буднично, без злобы. Он падает на лед, и его лицо моментально прилипает к поверхности. Когда его попытаются поднять, кожа останется на Байкале, аккуратной розовой маской.

Вокруг — теснота. Хотя льда на сотни верст, кажется, что все зажаты в узком, грязном коридоре. Чей-то локоть толкает в бок, чей-то сапог наступает на полу шинели. Пахнет мочой, спиртом и вечностью. Солдаты идут, вцепившись друг другу в хлястики, превратившись в одну бесконечную, слепую гусеницу, изрыгающую пар.

К вечеру, когда небо становится цвета гнилой сливы, ветер стихает. Наступает тишина, такая плотная, что слышно, как лопаются сосуды в глазах. Те, кто присел отдохнуть, больше не встают. Они застывают в нелепых позах: кто-то чешет колено, кто-то тянется за флягой. Ледяные изваяния с лицами, на которых застыло выражение крайнего недоумения.

Каппель закрывает глаза. Ему кажется, что он — это просто старый, дырявый мешок с костями, который кто-то волочит по бесконечной, белой простыне.

Принятие Сухого закона в США

16 января 1920 года

Вступила в силу 18-я поправка. Пафос в грандиозной ошибке государства: попытка сделать нацию трезвой силой закона породила эпоху гангстеров, подпольных баров и создала империю Аль Капоне.

Чикаго задыхается в сером киселе. Январь двадцатого года выдался сопливым, с мокрым снегом, который мгновенно превращается в черную кашу под копытами измученных кляч и колесами тяжелых «Паккардов». Над городом висит запах немытого тела, жженой резины и кислых щей.

Шестнадцатое число. Поправка вступила в силу, как топор в рыхлую колоду.

В подворотне на Саут-Сайд старик в лопнувшем по шву пальто пытается выковырять из зубов кусок сырой конины.

— Вступила, — просипел старик. — Мать их в душу, оздоровили нацию.

Мимо проносят таз с чем-то склизким; капля бурой жидкости падает в грязь, и ее тут же слизывает тощий пес с бельмом на глазу. Где-то наверху, за заиндепевшим окном, надрывно плачет младенец, а пьяный (еще с законных дрожжей) голос орет псалом, путая слова и захлебываясь кашлем.

В подвале дома номер сорок — торжество гигиены и морали. Огромный медный чан, изъеденный зеленой патиной, извергает пар. Пахнет прелым зерном и дегтярным мылом. Альфонс, с лицом, напоминающим перезрелую дыню, которую полоснули бритвой, сидит на перевернутом ящике. У него одышка. Он вытирает жирный затылок кружевным платком, который тут же становится серым.

— Трезвость, — сипит Альфонс, глядя, как в чан кидают ржавые гвозди «для цветности». — Государство заботится о наших печенках, парни. Чистота — залог здоровья.

Рядом маленький человечек в котелке, глубоко надвинутом на уши, сосредоточенно мочится в угол, стараясь не попасть на ботинки. Брызги летят на штабель пустых бутылок. Бутылки звенят — тонко, по-сиротски.

На улице конный полицейский, чей мундир лоснится от многолетнего пота, торжественно разбивает топором бочонок конфискованного виски. Рыжая жидкость течет по сточной канаве, смешиваясь с конским навозом и талым снегом. Прохожие падают на колени, макают пальцы в эту жижу, сосут их, причмокивая, глядя в небо безумными, белыми глазами.

— Великое время! — орет проповедник на углу, прижимая к груди облезлую Библию. Его бьет икота. — Нация очистится!

В это время в порту из тумана выплывает баркас. На палубе — ящики, сколоченные наспех, из которых течет мутная сукровица подпольного джина. Матрос с провалившимся носом сплевывает в воду густую, черную мокроту.

Империя строится на запахе аммиака и страхе. В «спикизи» — тесных конурах, где темно так, что не видишь собственного колена, — люди пьют денатурат из жестяных кружек. Кто-то падает мордой в опилки, у него начинаются судороги, но на него не смотрят. Сосед бережно обходит дергающееся тело, неся свой стакан как святое причастие.

Альфонс в подвале берет стакан, принохивается. Сверху, через щели в потолке, сыплется пыль и чей-то засохший плевок.

— За закон, — шепчет он, и лицо его кривится в судороге, которую можно принять за улыбку. — За великую сухость.

Снаружи Чикаго продолжает гнить, превращаясь в одну огромную, хлюпающую рану, забинтованную свежестопеченными банкнотами.

Смерть Модильяни и его музы

24 — 26 января 1920 г.

Нищий и гениальный Амедео умер в больнице для бедных. Узнав о его смерти, его беременная муза Жанна Эбютерн на следующий день выбросилась из окна пятого этажа. Самая трагическая история любви в искусстве XX века. Они не могли существовать друг без друга, и их совместная могила на кладбище Пер-Лашез стала местом паломничества всех романтиков мира.

Париж захлебнулся в серой жиже. Январь 1920-го — это не город, это пролежень на теле Европы. Гнилая сырость просочилась сквозь известняк, впиталась в шершавые стены больницы Шарите, где пахнет не лекарствами, а несвежим бельем, карболкой и застарелым перегаром бедноты.

Амедео лежал на казенной койке, вдавленный в грязный матрас тяжестью собственного распада. Лицо его, когда-то точеное, аристократическое, теперь напоминало посмертную маску, вылепленную из мокрого мела. Он хрипел. Каждый вдох — как скрежет ржавой пилы по кости.

Вокруг суетились тени: какой-то старик в засаленном халате жевал пустую корку, в углу капала вода, монотонно, как удары молотка по гробу. Гениальность здесь выглядела как липкий пот на лбу и бессвязное бормотание о «солнечной Италии», которое тонуло в кашле, выплескивающим на простыни ошметки легких. Смерть пришла буднично, без фанфар, просто выключив этот натруженный хрип в холодном полумраке палаты для неимущих.

Жанна стояла в их камере на улице Амио. Воздух в комнате застоялся, густой, хоть топором секи. В углу — перекошенные подрамники, на холстах — вытянутые шеи, пустые глазницы, отражающие не душу, а пустоту парижских тупиков. Живот, тяжелый, девятимесячный, мешал ей дышать, тянул к земле, к этой гнилой дощатой реальности.

Она не плакала. В этом мире слезы — это излишество, там только слизь и сукровица. Ее лицо было белым, как негрунтованный холст. Внизу, во дворе, кто-то истошно орал на лошадь, хлопали двери, пахло горелой костью. Мир без Дедо стал окончательно несъедобным, избыточным, заваленным хламом ненужных вещей и звуков.

Пятый этаж. Окно рассохлось, сопротивлялось, скрипело деревом о дерево. Жанна перекинула ногу через подоконник. Серое небо Парижа, похожее на остывшую овсянку, приняло ее беззвучно. Хруст костей об обледенелую мостовую был коротким и сухим, как щелчок сломанного карандаша. Она легла рядом с ним в эту грязь, принеся в жертву нерожденное дитя и собственное тело, чтобы хоть в сырой земле избавиться от этой удушающей клаустрофобии бытия.

Теперь на Пер-Лашез лежит одна плита на двоих. Камень скользкий от дождя, заваленный увядшими цветами, которые подгнивают точно так же, как те простыни в больнице. Романтики приходят сюда дышать этим тленом, не понимая, что их великая любовь была соткана из нищеты, туберкулезного плевка и абсолютной, стерильной невозможности дышать врозь.

Юнг против Фрейда: публикация «Психологических типов»

1921 год

Карл Юнг окончательно разошелся во взглядах со своим учителем Фрейдом. Пафос в том, что психология перестала вращаться только вокруг инстинктов и обратилась к коллективному бессознательному и архетипам.

Цюрих задышался в жирном, сером тумане. Воздух казался густым, как несвежий кисель; он лип к щекам, забивался в ноздри вместе с запахом гнилой капусты и пережаренного кофейного суррогата.

Карл Густав сидел в своем кабинете, утопая в тяжелом кожаном кресле, которое поскрипывало под ним, точно старая пыточная дыба. На столе, среди груд исчерканной бумаги, стояла тарелка с недоеденной сосиской. Розовая кожица лопнула, обнажив серую, рыхлую плоть; капля застывшего жира походила на мутный глаз.

— Типы... — прохрипел Юнг, и звук его голоса затерялся в складках тяжелых портьер. — Все люди — типы. Интроверсия. Экстраверсия. Тыфу.

Он потянулся к кочерге и с грохотом поворошил угли в камине. Из дымохода вылетело облако сажи, осев черными хлопьями на его безупречно белом воротничке. Карл не вытер их, лишь размазал пальцем, оставляя на шее грязный след, похожий на трупное пятно.

В голове навязчиво маячил образ Вены. Зигмунд. Старик в облаке сигарного дыма, вечно копающийся в грязном белье, выживающий оттуда скользких либидозных червей. Фрейд пах сукном и старой кожей, он заставлял весь мир ложиться на кушетку и пускать слюни, вспоминая кормящую мать.

— Нет, Зигги, — пробормотал Юнг, глядя, как по оконному стеклу ползет жирная, сонная муха. — Дело не в том, кто кого хотел поймать в колыбели. Это слишком мелко. Слишком... человечески.

Он встал, покачиваясь. В углу комнаты стояла африканская маска, вывезенная из экспедиции. В полумраке ее пустые глазницы казались бесконечными колодцами. Юнг подошел вплотную, чувствуя запах сухого дерева и чужой, древней пыли.

Внизу, на улице, проехала телега. Лошадь натужно заржала, звук оборвался влажным хлопаньем — копыто угодило в жижу. Кто-то истошно выругался, послышался глухой удар и звон разбитого стекла. Мир снаружи состоял из локтей, спин, потных затылков и вечного хрипа.

— Мы не просто куски мяса с набором рефлексов, — Юнг ткнул пальцем в маску, попав ей прямо в костяной нос. — Мы — это океан дегтя. Тысячелетний перегной. Архетипы, Зигмунд! Они сидят в нас, как глисты, только старше и страшнее.

Он представил себе коллективное бессознательное — огромный, смрадный чан, в котором варятся тени королей, шутов и матерей-землероек. Все они тянут свои полупрозрачные руки к горлу живых, диктуя, как чихать и как умирать.

В дверь коротко, по-военному стукнули. Вошла горничная — бледная девица с воспаленными веками. Она несла поднос, на котором сиротливо подрагивала чашка бульона. С края подноса свисала грязная тряпка.

— Поставьте здесь, — бросил Юнг, не оборачиваясь.

Девица шмыгнула носом — звук получился долгим и мокрым. Она долго не уходила, переминаясь с ноги на ногу, распространяя вокруг себя запах мокрой шерсти.

— Профессор, там... книга ваша. Напечатали.

Юнг посмотрел на стопку свежих экземпляров «Психологических типов». Бумага была желтоватой, пахла типографской краской и уксусом. В этом томе он окончательно заколотил гроб их дружбы с Фрейдом. Он вывел человечество из спальни в темный, залитый кровью и мифами подвал истории.

— Иди, Эмма, — сказал он, хотя ее звали Мартой.

Он взял книгу, открыл наугад и прижал страницу к лицу. Сквозь запах химии пробивался дух чего-то огромного и неповоротливого, как спящий в иле кит. Теперь все. Теперь не будет просто секса и просто страха. Будет великая пустота, населенная богами с песьими головами.

Юнг подошел к окну. Туман снаружи стал почти черным. Где-то вдали, в самом сердце Европы, старый еврей в Вене, вероятно, чистил свою сигару, не зная, что небо над его головой только что заселили чудовищами, которые не вылечить никаким психоанализом.

Карл Густав усмехнулся, обнажив желтые зубы, и смачно плюнул на стекло. Плевков медленно пополз вниз, разделяя мир на «до» и «после».

Дуэль Бенито Муссолини и Франческо Чиккотти

27 октября 1921 г.

Будущий диктатор Италии дрался на шпагах с социалистом в течение часа. Муссолини получил ранение, но этот поединок добавил ему ореол «бесстрашного лидера» прямо перед его захватом власти.

Октябрьская жижа Ливорно чавкала под сапогами, всасывая в себя окурки и обрывки фашистских листовок. Небо, цвета застиранного исподнего, низко висело над серым пустырем, придавливая немногочисленных свидетелей к земле. Воздух был густым, кислым, пахнущим пережаренным луком, конским потом и железной окалиной.

Бенито, потный, в расстегнутой на три пуговицы сорочке, похожий на разъяренного мясника, сжимал эфес шпаги. Его лысина тускло отсвечивала в тумане, как мокрое колено. Напротив, хлюпая носом, переминался Чиккотти — социалист с глазами побитой собаки, чье пенсне постоянно запотевало от тяжелого, хриплого дыхания.

— Начинайте уже, мадонна... — прохрипел кто-то из секундантов, ковыряя в ухе грязным мизинцем.

Сталь звякнула — звук был сухой и неприятный, как треск ломающейся кости. Они не фехтовали, они месили друг друга, барахтаясь в липком мареве. Муссолини пер буром, выкачивая белки глаз, тяжело сопя и выплевывая густую слюну на воротник. Чиккотти пятился, задевая пятками коряги и ржавые остовы каких-то телег.

Минул час. Время сгустилось в серый кисель. В стороне заржала лошадь, и этот звук перешел в протяжный, надрывный кашель старика, сидевшего на перевернутом ведре. У Муссолини по подбородку текла сукровица — не то царапина, не то просто лопнул сосуд от натуги. Одежда обоих взмокла, облепив тела, превращая будущих вершителей и жертв в одинаковые куски дрожащего мяса.

Вдруг острие Чиккотти мазнуло по предплечью Бенито. Ткань лопнула с деликатным треском, показалась плотная, темная кровь. Она не брызнула красиво, а лениво поползла вниз, смешиваясь с грязью на манжете.

Муссолини замер. Он не вскрикнул. Он посмотрел на свою рану с каким-то безразличным любопытством, словно увидел в ней червя. Лицо его вдруг разгладилось, приобретая ту самую окаменелую маску, которая скоро будет смотреть с каждого забора. Вокруг стояла вонь — смесь гари, мокрой шерсти и нечистот.

— Довольно, — буркнул врач, вытирая руки о несвежее полотенце.

Бенито выпрямился, выпятил челюсть, и в этом жесте среди куч мусора и осеннего гниения проступило нечто ужасающее. Он стоял в центре этого абсурдного, грязного мира — раненый, потный, бесконечно одинокий в своем безумии, но уже облеченный тем фальшивым ореолом, который толпа принимает за величие.

А где-то в тумане, невидимая за пеленой дождя, уже начинала ворочаться история, воняя ржавчиной и свежей известью.

Первое успешное использование инсулина

11 января 1922 г.

14-летний Леонард Томпсон, умиравший от диабета, получил первую инъекцию. Момент, когда болезнь, считавшаяся смертным приговором, была побеждена наукой.

В коридорах Торонтского госпиталя пахло не эфиром, а прокисшей капустой и мокрой известью. С потолка, облупленного, как старая вареная картофелина, капала желтоватая жижа, попадая прямо за воротник какому-то недобитому штабс-капитану, что сидел на лавке и безучастно жевал край своего обшлага.

Мальчик, Леонард, лежал в палате, похожей на дно вычерпанного пруда. Он был не просто худ — он был прозрачен, как папиросная бумага, сквозь которую просвечивает коготь мира. Кости его таза торчали, точно ребра перевернутой лодки на мелководье.

Рядом, хрипя и отплевываясь, какой-то бородач в пенсне пытался поймать за хвост пробегающую крысу, бормоча под нос: «Ничего, голубчик, это все химия, это все партикуляризм...»

Фредерик Бантинг вошел, спотыкаясь о брошенное эмалированное судно. Лицо его было серым, небритым, с прилипшим к щеке клочком ваты. В руках он сжимал шприц — громоздкое стеклянное чудовище, наполненное мутной, подозрительной взвесью, похожей на мясные помои. Чарльз Бест семенил следом, вытирая руки о несвежий халат, и мелко крестился, попадая пальцами себе в глаз.

— В колики его, — просипел Бантинг, озираясь на пролетающую мимо муху. — Коли в самое нутро, где смерть застряла.

Мальчик не мигал. Его глаза, огромные и пустые, отражали лишь серую мглу канадского полдня. Пахло уксусом — сладковатым, приторным запахом гниения живого мяса. Кто-то за стеной истошно закричал, зазвенела разбитая посуда, пробежала медсестра с охапкой грязных бинтов, волоча их по полу, словно свадебный шлейф.

Игла вошла с противным хрустом, будто протыкали залежалую корку хлеба. Леонард дернулся, из уголка рта вытекла тонкая нитка слюны. Бантинг нажал на поршень, и мутная жижа — вытяжка из поджелудочной железы убитых телят — устремилась внутрь этого маленького, иссохшего храма.

Тишина на мгновение стала такой плотной, что казалось, ее можно резать ножом. Слышно было, как в углу палаты паук деловито упаковывает муху.

Прошел час, а может, и вечность. В окно ударились птица, оставив на стекле кровавое пятнышко. И вдруг — едва заметно — пальцы мальчика шевельнулись. Взгляд, до этого блуждавший в черных дырах небытия, обрел тяжесть, зацепился за грязный обшлаг Бантинга. Смертный приговор, выписанный самой природой, вдруг оказался заляпан кляксой, перечеркнут небрежным росчерком этой грязной, пахнущей скотобойней жидкости.

— Живой, паршивец, — без тени радости, с какой-то злой иронией прохрипел Бантинг и высморкался в кулак.

За окном шел мокрый снег, скрывая под собой Торонто, науку и весь этот нелепый, задышающийся мир.

Открытие гробницы Тутанхамона

26 ноября 1922 г.

Говард Картер просунул свечу в отверстие и на вопрос «Вы что-нибудь видите?» ответил легендарным: «Да, чудные вещи!». Момент величайшего триумфа археологии.

Воздух в Долине царей густой, как несвежий кисель, перемешанный с известковой пылью и ослиной мочой. Поверхность пустыни смердит раскаленным камнем и застарелым потом рабочих, чьи локти постоянно лезут в лицо, чьи хрипы сливаются в единый, бессмысленный гул.

Говард Картер сплюнул густую, серую слюну на ступени. Пальцы его, испачканные в саже и масле, дрожали, но не от волнения, а от застарелого ревматизма и вечного египетского сквозняка, который почему-то всегда дует из ада в затылок. Рядом сопел Лорд Карнарвон — от него пахло дорогим табаком, несвежим бельем и предсмертной скукой.

— Ну же, Говард, — проскрежетал Лорд, вытирая платком шею, на которой багровел след от тесного воротничка. — Там что, пусто? Опять черепки и дохлые крысы?

Картер не ответил. Он вогнал лом в кладку с остервенением человека, вскрывающего нарыв. Камень поддался с чмокающим звуком. Из отверстия пахнуло чем-то немислимым: застоявшимся за три тысячи лет безвоздушным покоем, сухой кожей и благовониями, которые давно превратились в яд.

Кто-то из арабов за спиной громко, с надрывом высморкался. Кто-то задел плечом шаткую подпорку, и сверху посыпался щебень, забиваясь за шиворот, под пропотевшую рубашку.

Картер чиркнул спичкой. Огонек свечи затрепетал, захлебываясь в тяжелом, мертвом газе гробницы. Он просунул руку в дыру. Тень от его головы, уродливо вытянутая, заплесала по шершавым стенам коридора, похожая на профиль Анубиса с перебитой челюстью.

Внутри царил хаос. Это не был храм, это была кладовка безумного старьевщика. Золотые носилки подпирали безголовых истуканов, чьи-то алебастровые внутренности вывалились из разбитых кубков, а груды колесниц свалились в кучу, словно обломки кухонной утвари после пьяной драки. Все это было покрыто слоем времени, таким плотным, что золото казалось просто желтой грязью.

— Вы что-нибудь видите? — голос Карнарвона донесся как из-под воды, дребезжащий и липкий.

Картер замер. В носу нестерпимо свербело от пылицы древних цветов, рассыпавшихся в прах. Перед его глазами из темноты выплыла морда золотой коровы, глядевшая на него с тупым, ветеринарным безразличием.

— Да, — выдохнул он, чувствуя, как по хребту ползет холодная капля пота. — Чудные вещи.

Он обернулся. Лицо его в свете огарка выглядело как маска из папье-маше: рот перекошен, глаза провалились в черные ямы. В полумраке за его спиной кто-то из рабочих продолжал монотонно жевать черствую лепешку, чавкая на весь некрополь, а наверху, на воле, бессмысленно и злобно кричал осел, приветствуя вечность.

Коко Шанель: «похороны корсета»

Лето 1923 года

Это был момент тихой, но беспощадной революции, которая изменила облик женщины навсегда. Коко Шанель появилась на пляже в Довиле в мужской тельняшке и широких брюках, а затем представила маленькое черное платье. До этого женщина была «закована» в корсет и многослойные юбки. Это был момент, когда мода перестала быть декорацией и стала манифестом эмансипации. Весь старый мир с его кружевами и китовым усом рухнул перед лаконичностью одной женщины.

Довиль захлебывался в серой слизи прилива. Небо, тяжелое и низкое, словно пропотевшее сукно, давило на береговую линию, притискивая гуляющих к мокрому песку. Воздух был густым от запаха гниющей камбалы и дорогих духов, которые в этой сырости отдавали кошачьей мочой.

Герцогиня Де Морни шла, тяжело переваливаясь, как подбитая баржа. На ней — броня из китового уса, три слоя накрахмаленных юбок и турнюр, в котором, казалось, можно было спрятать голову врага. Она хрипела. Корсет впивался в ребра, выталкивая гортань вверх, к кружевному воротнику-стойке.

Лицо ее, густо замазанное белилами, пошло трещинами; в складках пудры завязла жирная муха, тщетно суча лапками. Рядом шел лакей, таща на серебряном подносе запотевший графин с солью — герцогиня была на грани обморока, привычного и ритуального.

И тут из тумана, из этого липкого месива старого мира, вырезалась фигура.

Это была Габриэль. Она двигалась не как женщина, а как мальчишка-газетчик или юркий портовый вор. На ней была тельняшка, грубая, полосатая, обтягивающая плоскую грудь — кощунство, оголенная правда кости и кожи. Но хуже всего были брюки. Широкие, мужские, они обдувались ветром, не скрывая хода бедер. В зубах — дымящаяся папираса.

— Господи, — прохрипела герцогиня, и муха на ее щеке замерла. — Она же... голая.

Вокруг засуетились. Какой-то старик в цилиндре, облепленном песочными блохами, выронил трость. Карлик в ливрее, непонятно откуда взявшийся, зашелся в лающем кашле.

Шанель подошла вплотную. От нее пахло табаком и морской солью, а не затхлым гардеробом. Она смотрела на герцогиню, чьи глаза выкатывались из орбит под пыткой шнуровки.

— Вы умираете, дорогая, — голос Шанель был сухим, как треск ломающейся ветки. — Вы замуровали себя в комод. Зачем вам столько ребер, если вы не можете дышать?

Она протянула руку и, не дожидаясь ответа, вытащила из-за пояса маленькие стальные ножницы. С коротким, непристойным звуком она полоснула по шелку ближайшей матроны, которая пыталась спрятать за веером багровое лицо.

— Я хороню этот хлам, — бросила Габриэль в лицо толпе. — Мода — это не склеп. Я возвращаю вам ваши тела. Пользуйтесь ими, пока они не сгнили.

Вечером того же дня, в тусклом свете керосиновых ламп, она вынесла «Маленькое черное платье». Оно висело на вешалке, как саван для старой Европы. Ни вышивки, ни цветов, ни турнюров. Просто чернота. Пустота, в которой наконец-то поместился человек.

В углу залы кто-то блевал в кадку с пальмой. Старый мир бился в конвульсиях, расстигая крючки, разрезая шнуровки, задыхаясь от внезапного притока кислорода. Корсет лежал на полу, смятый и позорный, похожий на скелет доисторического гада, подошедшего прямо на празднике жизни.

«Обезьяний процесс»

1925 год

Суд над учителем Джоном Скоупсом в США за преподавание теории Дарвина. Пафос лобового столкновения науки и религии в прямом эфире (первая трансляция по радио). Момент, когда вопрос о происхождении человека стал юридическим шоу.

Жара в Дейтоне была густой, как несвежий кисель. Она текла по стенам здания суда, смешиваясь с запахом потных подтяжек, дешевого табака и прокисшего лимонада. В зале было тесно до тошноты. Кто-то постоянно протискивался мимо, задевая локтем скулу; чья-то мокрая ладонь оставила след на спине адвоката Дэрроу.

В углу хрипел черный ящик с воронкой — радио. Из него вырывался свист, треск статики и голос диктора, похожий на скрежет жести по камню. Этот звук ввинчивался в черепа прихожан, сидевших на скамьях вперемешку с курами и корзинами яблок.

Джон Скоупс, бледный, с тонкими ключицами, торчащими из-под несвежего воротничка, казался лишним в этом празднике плоти. Он мелко дрожал. Рядом с ним судья — грузный старик с гноющим глазом — методично ковырял в зубах щепкой, сплевывая на коричневый пол.

— Адам был создан из праха, — гремел Брайан, его пот капал прямо на раскрытую Библию, расплываясь жирными пятнами на священном тексте. — А вы, мистер Дэрроу, хотите, чтобы мы признали своими кузенами вонючих тварей из зоопарка?

Дэрроу усмехнулся. В его улыбке было что-то звериное, атавистическое. Он почесал волосатую грудь через расстегнутую рубашку. Под потолком билась жирная муха, ее жужжание вплеталось в радиоэфир, превращая процесс в какофонию.

— Твари хотя бы молчат, Уильям, — прохрипел адвокат.

За окном толпа орала гимны, вбивая ритм палками в пыльную землю. Юридический хаос превращался в суп: цитаты из Бытия плавали рядом со схемами приматов, облепленными мушиным сором. Судья вдруг громко и долго высморкался в пальцы, вытер их о мантию и объявил перерыв. Радио в углу захлебнулось восторженным визгом диктора.

В этом душном полумраке вопрос о том, откуда взялся человек, казался нелепым. Все присутствующие — с их одышкой, бородавками и липким потом — явно не имели отношения ни к божественному свету, ни к стройной логике эволюции. Они были просто массой, копошащейся в горячей теннессийской грязи под аккомпанемент электрического треска.

Мир слушал этот шум — помехи, кашель, чавканье и невнятные выкрики о спасении души. Наука и религия сошлись в клинче, вцепившись друг другу в грязные бороды, а посередине сидел Скоупс и медленно, сосредоточенно ковырял заусенец, пока не показалась кровь.

Продажа Эйфелевой башни Виктором Люстигом

Май 1925 г.

Аферист убедил группу сталеваров, что Париж больше не может содержать башню и продает ее на металлолом. Он умудрился получить взятку и скрыться, а обманутый бизнесмен был настолько раздавлен позором, что даже не заявил в полицию.

Сырость. Париж сочится серой слизью, вязнет в испарениях сточных канав и дешевого табака. Май 1925 года выдался чахоточным, туманным, как нестираная марля.

Виктор Люстиг, в засаленном, но когда-то дорогом котелке, сидел в углу отеля «Крийон». Воздух в номере был густым от перегара и запаха прокисшей капусты. На столе — бумаги с поддельными министерскими печатями, липкие от пролитого портвейна. Люстиг жевал сухую корку, сплевывая крошки на бархатную скатерть, и смотрел на пятерых сталеваров.

Те сидели плотно, плечом к плечу, потные, в тесных сюртуках. Андре Пуассон, самый крупный, дышал тяжело, со свистом, будто в легких у него застряла горсть ржавых гвоздей.

— Республика задыхается, господа, — просипел Люстиг, и голос его напомнил скрежет железной щетки по кафелю. — Башня гниет. Она — огромный скелет, который жрет налоги. Семь тысяч тонн железа, превращающегося в труху.

Он ткнул пальцем в окно, где в серой жиже неба едва угадывался костлявый силуэт конструкции Гюстава Эйфеля. Пуассон вытер лоб засаленным платком. В комнате завыл сквозняк, захлопала где-то внизу неплотно прикрытая дверь, послышался пьяный хохот и звук разбитого стекла.

— Металлолом, — выдохнул Пуассон. Его глаза, маленькие и мутные, блеснули жадностью. — Столько чугуна...

Люстиг наклонился вперед. От него пахло формалином и старыми деньгами.

— Конфиденциально. Государство стыдится своей немощи. Кто даст больше, тот заберет этот труп.

В углу номера кто-то невидимый долго и мучительно кашлял. Пуассон заерзал, стул под ним жалобно скрипнул. Он полез во внутренний карман, выудил пухлый конверт, измазанный чем-то бурым. Там была взятка — за право «выиграть» тендер. Люстиг принял деньги брезгливо, двумя пальцами, словно дохлую крысу за хвост.

— Вы патриот, Пуассон. Франция вас не забудет.

На следующее утро Люстиг исчез. Исчез в тумане, в грохоте извозчичьих пролеток и криках газетчиков.

А Пуассон остался. Он стоял у подножия башни, глядя на заклепки, покрытые слоями пыли и птичьего помета. Вокруг сустились люди, пахло мочой и жареными каштанами. Он сжимал в кармане фальшивый контракт, и по лицу его ползла муха. Пуассон молчал. Он чувствовал, как внутри него что-то лопнуло, тихо и окончательно, как пузырь в болотной жиже.

Он не пошел в полицию. Слишком много позора в этой липкой, абсурдной правде. Он просто стоял, маленький человек под огромной железной дурой, пока холодный парижский дождь смывал остатки его достоинства в сточную канаву. Башня стояла над ним — неподвижная, ржавая, вечная.

Первый беспосадочный перелет через Атлантику

21 мая 1927 г.

Чарльз Линдберг приземлился в Париже после 33 часов одиночного полета на «Духе Сент-Луиса». Мир встретил его как полубога.

Грязь под ногтями была подлинной, заскорузлой, принесенной еще из того, другого мира, где жевали табак и сплевывали в пыль Сент-Луиса. В кабине «Духа» несло прокисшим потом, бензином и застарелым страхом, который за тридцать три часа успел загустеть, превратившись в липкую патоку.

Линдберг, с лицом, серым, как нечищенная кастрюля, ввалившимися глазами вглядывался в бесконечную кашу тумана. Рычаги управления казались скользкими костями гигантского животного, которое медленно переваривало его в своем стальном чреве.

Тишина была невозможной, потому что ее не существовало — рев мотора ввинчивался в череп, как ржавое сверло, оставляя внутри только лязг и скрежет. Линдберг чувствовал, как его кожа срывается с промасленной тканью сиденья. Пахло мочой и холодным железом. Он не летел — он продирался сквозь густой, как кисель, эфир, задевая локтями невидимые углы мироздания.

В какой-то момент ему показалось, что в кабине тесно от призраков: бородатые мужики в исподнем лезли обниматься, совали под нос вяленую рыбу, дышали чесноком и исчезали, оставляя на стеклах мутные разводы.

Бурже возникло внезапно, как чирей на теле ночи. Аэродром пух от человеческого мяса. Когда колеса коснулись раскисшей земли, толпа выдохнула единым, смрадным комом восторга. Линдберг не вышел — его выковыряли из самолета, как улитку из раковины. Тысячи рук, жадных и влажных, потянулись к нему, желая урвать кусок святого безумия. Кто-то сорвал с него шлем, кто-то вцепился в рукав куртки, выдирая мех с кожей.

Его несли над головами, и он видел только колышущееся море потных лиц, щербатых ртов и безумных, выпученных глаз. Его, полуживого от недосыпа и тошноты, провозглашали богом, а он лишь хотел сплюнуть накопившуюся во рту горечь. Париж пах мокрым асфальтом, дешевым вином и немывтыми телами обожателей. В этом триумфе не было величия — только хаос, хрипы и судорожное желание толпы сожрать своего героя, пока он еще теплый.

Гибель дирижабля «Италия»

25 мая 1928 г.

Катастрофа экспедиции Нобиле в Арктике. Последующая спасательная операция, в которой погиб великий Амундсен, стала мировым эпосом о взаимовыручке и борьбе со льдами.

Снег был не белым, а цвета застиранной холстины, впитавшей пот и копоть. Он лез в рот, забивался под веки, хрустел на зубах известкой. Сверху, из низкого, как потолок карцера, неба, давило железное марево.

Дирижабль «Италия» не упал — он издох, как перекормленное брюхо левиафана. В 10:33 утра мир лопнул. Сначала был звук: скрежет разрываемого металла, похожий на вскрик чахоточного старика, а потом — чавканье. Лед принял в себя гондолу с чмоканьем, плотоядно и деловито.

Умберто Нобиле лежал в сугробе, похожий на покалеченную куклу в дорогом меху. Сломанная нога торчала под нелепым углом, а из разбитого лица сочилась сукровица, мгновенно превращаясь в розовый леденец. Рядом скулила Титина, крошечная фокстерьерша, чей лай тонул в бесконечном шорохе ледяных игл. Вокруг копошились выжившие — серые тени в испачканных маслом комбинезонах. Они не спасались, они обживали ад.

— Чечиони, не ори, ты пугаешь собаку, — прохрипел кто-то, выплевывая выбитый зуб.

Красная палатка возникла среди торосов как кровавая язва. Внутри пахло не геройством, а аммиаком, невымытыми телами и отчаянием. Радиостанция, эта жестяная коробка с проводами, похожими на кишки, молчала. Биаджи крутил ручку настройки с остервенением самоудовлетворяющегося калеки. Эфир отвечал лишь треском статики — так звучит вечность, которой наплевать на флаги и амбиции.

А в это время где-то там, за пеленой серой хляби, Руаль Амундсен застегивал пуговицы тяжелого пальто. Его лицо, высеченное из мороженого гранита, не выражало ничего, кроме брезгливой решимости. Он ненавидел Нобиле — этого выскочку в золотых галунах, но Арктика требовала ритуала.

Гидросамолет «Латам-47» был хлипкой щепкой. Когда он оторвался от воды в Тромсе, он не взлетел — он растворился в сером киселе. Смерть Амундсена была лишена пафоса. Ни взрыва, ни прощальных слов. Просто Баренцево море разверзло свою студеную пасть и сомкнуло челюсти. Великий норвежец ушел в пучину беззвучно, как капля жира в ледяном бульоне, оставив после себя лишь пустой поплавок, качающийся на волнах, словно обглоданная кость.

На льдине же продолжался абсурд. Мальмгрен, швед с прозрачными глазами, ушел в белую пустоту, попросив товарищей закопать его в снег еще живым — обуза не должна дышать общим кислородом. Оставшиеся жевали обрывки кожи и смотрели, как по горизонту ползает ледяные хребты.

Когда «Красин» — этот чугунный уют империи — наконец прогрыз путь к палатке, люди на льду выглядели не как спасенные герои, а как недобитые насекомые. Санитары в грязных халатах тащили их на борт, под хриплые крики чаек и лязг лебедек.

Мир получил свой эпос. Нобиле выжил, чтобы до конца дней оправдываться. Амундсен погиб, чтобы стать мифом. А Арктика осталась прежней — огромной, равнодушной коммунальной кухней, где вместо супа варят время, и пар от этого варева застилает глаза всем, кто осмелится взглянуть вверх.

Открытие пенициллина Александром Флемингом

28 сентября 1928 г.

Ученый заметил плесень в чашке Петри, которая убила бактерии. Момент победы над инфекциями, спасший миллиарды жизней.

Сентябрьская лондонская слизь текла по стеклам, смешиваясь с копотью и жирным туманом. В лаборатории святой Марии пахло кислым супом, формалином и немытыми телами. В углах громоздились стопки пыльных чашек Петри, похожие на нечищенные тарелки в привокзальной закусочной.

Флеминг, сутулый, в измятом халате, заляпанном желчными пятнами неизвестного происхождения, ковырялся в носу, рассматривая грудку стеклянного хлама. За дверью кто-то надсадно кашлял, выплевывая легкие в грязный платок; звук был мокрый, хлюпающий. В коридоре пробежала крыса, волоча за собой обрывок бинта.

— Хаос, — пробормотал он, толкая пальцем верхнюю чашку.

Она съехала набок, обнажая агар-агар, затянутый колониями стафилококка — жирными, желтыми, как гнойники на лице старого боцмана. Но в центре, среди этой микробной вакханалии, развалилась незваная гостья. Плесень. Бледная, сизая, пушистая, как забытая в шкафудохлая кошка.

Флеминг прищурился. Вокруг плесени образовалась зона странной, пугающей чистоты. Бактерии, эти свирепые крохотные твари, пожирающие человечество, здесь просто растворились, превратились в прозрачную слизь, в ничто.

— Гляди-ка, — хриплым шепотом сказал он ассистенту, который в этот момент пытался выковырять застрявшую крошку из зуба. — Околели. Сдохли, миленькие.

Ассистент, не оборачиваясь, смачно сплюнул на пол. По полу сквозило.

Флеминг потянулся к плесени грязным пинцетом. Его движения были неловкими, тяжелыми. В этой тесноте, забитой пробирками, скелетами и ветошью, совершалось великое таинство, похожее на копанье в помойке. Смерть отступала не под фанфары, а под чавканье промокших ботинок и запах несвежего белья.

За окном проехала пролетка, обдав стену грязью. Ученый поднес чашку к самому лицу, едва не касаясь носом пушистого грибка.

— Ну что, курвы, — просипел он, обращаясь к мертвым стафилококкам. — Кончилась ваша власть. Теперь мы будем гнить по-другому.

Он коротко, по-стариковски хохотнул, и этот звук утонул в общем гуле холодного, больного города. Мир еще не знал, что его только что вытащили из могилы, но на вкус эта победа была как горькое лекарство, разлитое в заплыванном подвале.

Дуэль хирургов: Форсман против всех

1929 г.

Молодой врач Вернер Форсман верил, что можно ввести катетер прямо в сердце через вену. Ученый совет назвал это самоубийством и запретил эксперимент. Форсман обманул медсестру (привязал ее к столу, чтобы она не мешала), сам себе сделал надрез на руке, ввел трубку на 60 см и пешком дошел до рентген-кабинета, чтобы сфотографировать катетер в своем правом предсердии. Его уволили «за сумасбродство», но через 27 лет за этот снимок он получил Нобелевскую премию. Это высший пафос медицинской дерзости: сделать из своего тела лабораторию, когда никто не верит.

Берлин, 1929 год. Клиника Эберсвальде. В коридорах пахнет кислыми щами, карболкой и застарелым страхом. По стенам течет известка. Где-то за перегородкой глухо бьют посуду и матерятся на нижнесаксонском диалекте.

Вернер Форсман, тощий, с воспаленными глазами, стоит в процедурной. Воздух здесь густой, как кисель, его хочется отодвинуть руками. Медсестра Герда, пышная, похожая на ромовую бабу, впавшую в кататонию, хлопает ресницами.

— Привяжу, — хрипит Форсман. Голос у него как скрежет кровельного железа. — Для науки, Герда. Чтобы не дернулась. Нобеля на всех не хватит.

Он пеленает ее к операционному столу грубыми ремнями. Герда мычит, в глазах — отражение кафельной плитки и бесконечная немецкая покорность. Вернер не смотрит. Он достает мочеточниковый катетер. Штука длинная, скользкая, похожая на ожившую макаронину или слепого гада.

Скальпель режет кожу на локтевом сгибе с тихим чавканьем. Кровь — не театральная, а бурая, настоящая — лениво толкается наружу. Форсман сопит. За стенкой кто-то невидимый долго и мучительно сморкается.

— Пошла, родимая, — шепчет он, запихивая зонд в вену.

Ощущение внутри — будто по жилам пустили холодную проволоку. Сантиметр, десять, тридцать. Слышно, как в коридоре санитар везет каталку с грохотом пустых ведер. Сосед за стеной начинает кашлять — долго, с хрипом, выплевывая легкие в эмалированный тазик.

Шестьдесят сантиметров. Катетер щекочет само нутро, стучится в предсердие, как незваный гость в коммуналку. Форсман бледнеет до синевы, на лбу выступает липкая испарина. Он не умирает. Это и обидно, и триумфально.

— Лежи, дура, — бросает он привязанной Герде.

Он идет. Сквозь липкий туман больничных коридоров. Шаг — тяжелый, кованный. Катетер внутри него танцует, задевает клапаны. Встречный интерн в заляпанном халате жует бутерброд с ливерной колбасой, смотрит на торчащую из руки доктора трубку и равнодушно отворачивается. Мир абсурден, и человек с петлей в сердце в нем — самая логичная деталь.

Рентген-кабинет встречает холодом и запахом озона. Врач-рентгенолог, похожий на испуганного суслика, дрожащими руками включает аппарат. Вспышка. Треск. Гудение.

На сером снимке — ребра, похожие на обглоданный скелет рыбы, и черная змея, уткнувшаяся в центр пульсирующего мрака.

— Сумасшедший, — говорит главный врач через час, вытирая руки грязным полотенцем. — Вон отсюда. Вы свободны от должности, Форсман. Вы не врач, вы паяц. У нас тут приличное заведение, здесь умирают по протоколу.

Форсман выходит на улицу. Дождь смешивается с сажей. Он знает, что эта тонкая трубка в его груди длиннее, чем все их карьеры.

Пройдет двадцать семь лет. Грязь высохнет, кашель за стеной стихнет, а тени в коридоре сменятся другими тенями. И тогда старику в смокинге дадут золотую медаль за то, что в один

паршивый вторник он превратил собственный ливер в доказательство того, что Бог разрешил нам входить без стука.

Находка карты Пири Рейса

1929 г.

Турецкий адмирал в 1513 году нарисовал карту, где детально изображена береговая линия Антарктиды... без льда. Момент шока для географов: как человек XVI века знал очертания материка, скрытого льдом миллионы лет?

Стамбул, 1929 год. Дворец Топкапы смердит прокисшей кашей, плесенью и мокрыми кальсонами. В коридорах тесно, как в кишках у покойника. Кто-то чавкает в темноте, кто-то сморкается в подол, кто-то тащит корыто с требухой, задевая локтями пробегающих мимо чиновников новой республики.

Халил Эдхем, директор музеев, человек с лицом, будто его долго жевали и выплюнули, продирается сквозь завалы из пыльных свитков и сломанных подсвечников. На него вечно что-то капает с потолка — то ли вода, то ли рыбий жир. Под ногами хлюпает.

— Куда прешь, образина? — хрипит Халил на пробегающего мимо матроса в грязной бескозырке. Матрос не отвечает, только обдает его запахом дешевого табака и чеснока.

Они разбирают старые султанские кладовые. Революция. Переучет. Среди груды тряпья, мышиного помета и обломков фарфора Халил выуживает кусок телячьей кожи. Грязный, засаленный, с обгрызанными краями.

— Гляди-ка, — говорит он своему помощнику, мелкому человечку с вечным ячменем на глазу. — Адмирал Пири наш, Рейс. Пятьсот тринадцатый год. Рисовал, мерзавец, пока его не удушили.

Они разворачивают кожу на шатком столе. Стол качается, со столешницы падает дохлая муха. Снаружи, во дворе, кто-то истошно орет на осла. Халил тычет грязным пальцем в карту. Палец оставляет жирный след.

— Это что же такое, Афет? — голос Халила становится тонким, как волосок. — Это что за берег? Юг же. Лед должен быть. А тут... горы. Реки. Леса нарисованы, собака их дерит.

Афет наклоняется, сопя. У него из носа течет.

— Не может быть лесов, господин директор. Там лед. Тысячи лет лед. Миллионы. Глыбы синие, смерть одна.

— А Пири нарисовал землю, — Халил начинает иронично, по-стариковски хихикать, переходя в кашель. — Видишь? Очертания. Мыс Горн, а дальше — материк. Чистый, как задница младенца. Без единой ледышки. Как он видел его сквозь версты льда, а? В шестнадцатом-то веке?

В комнату заваливается какой-то немецкий географ в пенсне, которое держится на честном слове. Он спотыкается о ведро, ругается по-своему. Увидев карту, он замирает. Лицо его становится серым, как турецкое небо в ноябре.

— Das ist... это невозможно, — лепечет немец. — Это береговая линия королевы Мод. Съемка без ледяного щита. Но лед там лежит миллион лет. Откуда у адмирала эти данные? У него что, были боги в помощниках? Или он сам — из тех, кто до льда жил?

Немец начинает мелко дрожать. Он трогает кожу карты, словно надеется, что она растает. В коридоре в это время кто-то начинает бить медным тазом о стену. Грохот стоит невыносимый.

— Ты, немец, не трясись, — Халил вытирает руки о халат. — У нас тут прогресс. Республика. А ты мне про богов. Просто адмирал Пири Рейс был человеком внимательным. Или мир наш — это просто куча мусора, которую кто-то перепутал при уборке.

Он сворачивает карту в трубочку и бьет ею немца по плечу, как пыльным веником.

— Забирай. Опиши. Только не забудь упомянуть, что в Топкапы крысы сожрали половину Атлантики. И Антарктиду твою без льда тоже надкусили.

Халил выходит в коридор, толкаясь плечами. Мимо несут огромную рыбину, завернутую в газету. Рыба смотрит на Халила мутным глазом, точно так же, как смотрел адмирал Пири Рейс на свои берега, которых не должно было быть. В воздухе пахнет гарью и безнадежностью. История — это просто грязная тряпка, которой вытерли стол после обеда.

«Черный вторник»: крах фондового рынка

29 октября 1929 г.

Момент, когда «американская мечта» разбилась вдребезги за один день, погрузив мир в Великую депрессию. Символ краха капиталистического рая.

Утро пахло прокисшей овсянкой, мокрым сукном и нечистотами. В коридорах биржи на Уолл-стрит стоял такой плотный туман из табачного перегара и человеческого испарения, что казалось, будто само время загустело и превратилось в серый кисель.

Артур, в помятом котелке, сползшем на потный лоб, продирался сквозь толпу. Чей-то локоть больно ткнул его в кадык, кто-то невидимый гулко и надсадно кашлял прямо в затылок, обдавая запахом гнилых зубов. Под ногами хлюпало — не то разлитый кофе, не то моча испуганного клерка. На полу вповалку валялись ленты телетайпа; они змеились, опутывали щиколотки, словно белесые черви, вылезшие из разверзшейся земли.

— Продаю... Господи, все продаю... — сипел старик с разбитым пенсне, вцепившись в пуговицу соседа. Сосед, тучный господин с остатками чернильной кляксы на щеке, мелко дрожал и пытался засунуть в рот сразу целую сигару, не снимая обертки.

В торговом зале стоял не гул, а утробный, животный рев. Это был звук лопающегося мяса. Бумаги, еще вчера значившие поместья в Хэмптоне и лакированные «Паккарды», теперь превратились в грязные ошметки. Какой-то юноша с лицом восковой куклы методично бился лбом о массивную колонну — бум, бум, бум. С каждым ударом по его подбородку стекала тонкая струйка сукровицы, пачкая белоснежный накрахмаленный воротничок.

Сверху, с галереи, донесся визг, похожий на крик забиваемой свиньи, и что-то тяжелое, грузное рухнуло вниз, на головы маклеров, с глухим влажным звуком. Никто не обернулся. Лишь толстый слой пыли, поднятый падением, осел на потные лица, превращая людей в серых призраков с безумными глазами.

Артур вывалился на улицу. Город задышался. Небо было цвета застиранной мешковины. На углу чистильщик сапог с остановившимся взглядом яростно тер щеткой ботинок покойника — тот лежал на тротуаре, вывернув карманы, в которых не осталось даже пыли. Из окна двенадцатого этажа вылетел рояль; он падал медленно, торжественно, и разбился о мостовую с дребезжащим, фальшивым аккордом, поставив точку в симфонии процветания.

«Американская мечта» пахла гарью и дешевым спиртом. Кто-то сунул Артуру в руку рекламную листовку о продаже яхты, но тут же вырвал ее, чтобы использовать как платок. Повсюду сновали карлики, нищие, какие-то калеки на тележках, радостно скалясь в предвкушении общего равенства в нищете.

Мир не просто рухнул — он вывернулся наизнанку, обнажив гнилое нутро, копошащихся червей и бессмысленный, захлебывающийся хохот судьбы. Капиталистический рай превратился в коммуналку, где у всех разом отобрали ключи, свет и право на завтрашний обед.

Эмпайр-стейт-билдинг: небоскреб на человеческих костях

1930—1931 гг.

В разгар Великой депрессии 3000 рабочих строили здание со скоростью 4 этажа в неделю. Знаменитая фотография «Обед на небоскребе», где рабочие сидят на стальной балке на высоте 250 метров без страховки, была сделана на другом здании, но сама практика обедов на высоте была суровой будничной реальностью для строителей всех небоскребов того времени. Это был ежедневный пафос риска за копейки. Официально погибло 5 человек, но легенды говорят о десятках. Здание стало символом надежды Америки: в самый мрачный экономический час люди воздвигли самый высокий иппиль в мире, доказав, что дух сильнее кризиса.

Гнилой туман с Гудзона вязнет в зубах известковой крошкой. На высоте восьмидесятой отметки воздуха уже нет — есть только ледяной кисель, перемешанный со свистом заклепочных молотов.

Макмерфи, с лицом, серым, как невыделанная кожа старой коровы, сплевывает вниз черную мокроту. Слюна летит в бездну, где внизу, в серой каше Манхэттена, копошатся невидимые отсюда безработные, похожие на вшей в складках грязного пальто. Здесь, на стальном ребре, выпирающем в пустоту, жизни ровно столько, сколько держит в себе капля пота, замерзшая на кончике носа.

— Дай огня, Иштван, — хрипит Макмерфи, не поворачивая головы.

Иштван, венгр с выбитым глазом и всклокоченной бородой, копошится рядом. У него из кармана торчит обглоданная крысиная кость, а пальцы, распухшие от холода до состояния сырых сосисок, дрожат. Он чиркает спичкой. Вспышка — и вонь дешевого табака смешивается с запахом горелого мяса: это Иштван случайно прижег себе ладонь, но даже не поморщился. У него нервы давно выгорели, остались только жилы.

Они сидят на балке, как куры на насесте. Под ними двести пятьдесят метров ничем не заполненного ужаса. Страховки нет — страховка стоит денег, а деньги нужны мистеру Раскобу, чтобы втыкать этот стальной палец в глаз Господу Богу.

Рядом, привалившись к заклепкам, сидит итальянец, имени которого никто не помнит. Он ест свой сэндвич — кусок засохшего хлеба, в котором запечен таракан. Итальянец жует мерно, чавкая, и этот звук в разреженном воздухе кажется оглушительным, как удары копра. Внезапно сверху летит сорвавшаяся гайка. Она бьет итальянца по плечу, раздается сухой хруст кости, но тот лишь криво усмехается, не переставая жевать. Из уха у него течет тонкая струйка сукровицы.

— Говорят, вчера еще один ушел, — бормочет Иштван, глядя в мутную мглу. — Прямо в бетономешалку на сороковом. Даже кепку не выловили.

— Врет газета, — отрезает Макмерфи. — Газета пишет: «Символ надежды». Газета пишет: «Дух Америки». А дух — он вот он, — он тычет пальцем в ржавую лужу на балке, где плавает чей-то выбитый зуб. — Мы тут не дом строим, мы кости свои в фундамент вколачиваем, чтоб эта дура не повалилась от собственного стыда.

Сверху раздается утробный рык лебедки. Сталь стонет, как недорезанный скот. Четыре этажа в неделю — этот ритм вытряхивает из людей душу, оставляя только пустые оболочки в засаленных комбинезонах. Воздух становится еще плотнее, кажется, его можно резать ножом. Внизу, в мареве, воет сирена — может, полиция гонит голодный марш, а может, просто город задыхается в своей Великой Немощи.

Макмерфи встает на ноги на краю бездны. Его шатает. Ветер бьет его в грудь, пытаясь сбросить, как лишнюю деталь. Он смотрит на шпиль, который уходит в свинцовое небо, и начинает мелко, юродиво смеяться, обнажая черные пеньки зубов.

— Высоко лезем, парни! — орет он в никуда, перекрывая грохот стройки. — До самого рая дотянемся, а там тоже — очередь за супом и ни одного свободного койко-места!

Иштван и итальянец не смотрят на него. Они смотрят в свои пустые ладони. А над ними, облепленный грязью, потом и кровью, растет Empire State — великий памятник из стали и человеческой трухи, единственный чистый и прямой предмет в этом захлебывающемся в рвоте мире.

Открытие Плутона Клайдом Томбо

18 февраля 1930 г.

24-летний ассистент обсерватории нашел крошечную точку на краю системы. Момент расширения границ «нашего дома» до ледяной тьмы пояса Койпера.

В обсерватории Лоуэлла пахло не космосом, а прогорклым бараньим жиром, мокрой шерстью и несвежим человеческим выдохом. Клайд, сопливый мальчишка с обветренными пальцами, сидел в тесном закутке, где под потолком вечно дрожала пыльная паутина, похожая на туманность Андромеды, только грязнее.

Снаружи Аризона выла ледяным ветром, а здесь, внутри каменного мешка, хлюпало. Кто-то из старших астрономов, кажется, старик со слезящимися глазами и вечной каплей на кончике носа, только что прошел мимо, задев Клайда тяжелым суконным плечом. Рядом за стеной кто-то мучительно кашлял, выплевывая в жестяную банку остатки легких и вчерашнего обеда.

— Ищи, Клайд, ищи, сукин ты сын, — прохрипел невидимый голос из мглы коридора. — Границы империи пухнут, а ты штаны протираешь.

Клайд впился глазами в блинк-компаратор. Стекланные пластинки щелкали — сухой, костяной звук, будто кто-то пересчитывал зубы покойника. Январские снимки сменялись февральскими. Звезды на них выглядели не как алмазная пыль, а как засохшие брызги известки на черном, засаленном фартуке небес.

Голова кружилась от запаха разогретого масла и близости железных механизмов. Мир сузился до двух тусклых пятен. Щелк. Точка здесь. Щелк. Точка прыгнула.

Она была крошечной, ничтожной, как гнида в волосах нищего. Но она двигалась. Там, за орбитой великанов, в ледяной жиже, где само время замерзает в неопрятные глыбы, что-то шевельнулось.

— Нашел, — прошептал Клайд, и его голос утонул в грохоте опрокинутого ведра где-то внизу.

Он не чувствовал триумфа. Он чувствовал, как границы «нашего дома» разъехались, впуская в уютную затхлость обсерватории дыхание абсолютной, нечеловеческой пустоты. Теперь за их спинами стояла не просто тьма, а бесконечный склад ледяного мусора, где бог-кладовщик давно сошел с ума от скуки и одиночества.

Клайд вытер нос рукавом, оставив на сукне блестящий след. Солнечная система стала больше, а человек — еще меньше и грязнее, чем казался утром. В углу комнаты крыса догрызала сухарь, и этот звук в наступившей тишине был громче, чем музыка сфер.

Соляной поход Ганди

12 марта 1930 г.

61-летний Ганди пешком прошел 390 км к морю, чтобы просто выпарить соль в знак протеста против британской монополии. Момент, когда горсть соли стала сильнее пушек.

Жирная, маслянистая грязь чавкает под босыми ступнями. Ганди — костлявый, обтянутый пергаментной кожей старик с огромными ушами — продирается сквозь густой, как кисель, индийский полдень. Вокруг не экзотика, а липкое месиво из тел, пота и козьего помета. Слышно, как кто-то за спиной надсадно кашляет, выплевывая легкие в пыль; кто-то сморкается, зажав ноздрю пальцем.

Воздух застыл. Он плотный, его можно резать тупым ножом. Пахнет прогорклым маслом, мочой и несбывшимся величием. Старик идет, опираясь на суковатую палку, которая подозрительно напоминает кость гигантской птицы. Его белое дхоти давно стало цвета придорожной канавы. Впереди — триста девяносто километров бессмысленного, изнуряющего передвижения конечностей в пространстве, забитом людским гулом и дребезжанием медных мисок.

Британцы в пробковых шлемах наблюдают со стороны. У них красные, лоснящиеся лица и тесные мундиры, под которыми зудит потница. Они кажутся нелепыми истуканами в этом царстве вечного хаоса. Один из офицеров пытается поправить монокль, но палец соскальзывает по влажной коже, и стекло падает в навоз. Он не поднимает его — брезгует.

В Данди пахнет солью и гниющими водорослями. Океан не синий — он свинцовый, лениво выплевывающий на берег мусор и дохлую рыбу. Ганди наклоняется. Суставы хрустят так громко, будто ломаются сухие ветки. Он зачерпывает ладонью серую, мутную жижу.

Тишина накрывает толпу, как пыльное одеяло. Старик выпрямляется. На его ладони — грязная, кристаллизующаяся корка. Это даже не соль, это какая-то ядовитая накипь империи. Он смотрит на этот комок с ироничным прищуром, словно нашел в супе муху.

В этот момент грохочущие где-то вдалеке пушки становятся декорацией, картонным реквизитом. Горсть грязи, названная солью, внезапно обретает вес планеты. Старик облизывает палец, морщится от горечи и вытирает руку о бедро. Империя начала осыпаться, как штукатурка в старом, заброшенном бараке, где больше некому подметать пол.

Открытие антивещества

1931 год

Поль Дирак предсказал, а позже был обнаружен позитрон. Пафос в осознании «зазеркалья» Вселенной: выяснилось, что у каждой частицы есть двойник с противоположным зарядом. Это был шаг к пониманию того, как возник мир.

В Кембридже стоял туман, похожий на нестиранную марлю. Грязь, перемешанная с сажей и овечьим пометом, чавкала под ботинками Дирака. Он шел по коридору Кавендишской лаборатории, вжимая голову в узкие плечи. Навстречу, кашляя и отплеываясь, пронесли какого-то задохлика в белом халате; у задохлика из кармана свисала окровавленная сосиска.

В кабинете пахло кислым чаем, старым железом и мочой — кто-то из лаборантов, верно, не дотерпел до нужника. На столе, среди груды исчерканных листов, гнила корка апельсина. Дирак сел, не снимая пальто. Пальцы, длинные и бледные, как у утопленника, вцепились в перо.

Мир трещал. За стеной кто-то долго, с хрипом, высмаркивался в газету «Таймс».

Дирак смотрел на свои уравнения. Буквы казались мухами, завязшими в сиропе. Он видел это отчетливо: там, за тонкой пленкой реальности, шевелилось нечто обратное. Если есть электрон — нищий, засаленный, отрицательный, — значит, где-то в черной жиже мироздания должен быть его близнец. Такой же, но вывернутый наизнанку. Позитрон. Чистое, зеркальное «нет».

— Господи, — прохрипел он, не обращая внимания на ввалившегося в комнату лаборанта, который тащил за собой ведро с помоями. Лаборант споткнулся, жижа выплеснулась на ботинки Дирака, но тот даже не дрогнул.

Вселенная оказалась не домом, а коммуналкой, где в каждой стене есть потайная дверь в пустоту. Каждая крохотная частица тащит за собой свою смерть, своего призрачного двойника. Столкни их — и будет вспышка, пшик, ничего. Только вонь горелой шерсти.

Дирак усмехнулся. Ирония была в том, что все вокруг — эти грязные стены, хрипящие люди, прокисший чай — существовало лишь потому, что в начале времен кто-то случайно не доглядел, и материи оказалось на одну каплю больше, чем антиматерии. Мы — всего лишь ошметки, не успевшие аннигилировать в великой свалке.

За окном проехала телега. Колесо застряло в выбоине, возница матерно орал на лошадь, колотя ее по тощим бокам мокрым картузом. Дирак аккуратно вывел на полях формулу. Позитрон.

В углу лаборатории крыса доедала апельсиновую корку. Зеркало на стене было настолько засижено мухами, что отражало лишь серый шум. Мир был симметричен, безобразен и абсолютно пуст внутри.

«Новый курс» Рузвельта

1932 год

Момент, когда государство решило спасти капитализм, став его регулятором. Пафос в том, что Франклин Рузвельт дал людям надежду в разгар Великой депрессии, доказав: воля лидера может развернуть экономику лицом к человеку.

Вязкий, серый туман напал с Потомака, перемешивая запах гнилой рыбы с тяжелым духом дешевого табака и немых тел. В коридорах Белого дома пахло мокрой шерстью, карболкой и застарелым страхом тех, кого вышвырнули за порог вчера, и тех, кого вышвырнут завтра.

По коридорам, заваленным какими-то папками, рулонами чертежей и недоеденными сэндвичами, сновали суетливые люди в мятых пиджаках. Кто-то громко сморкался, кто-то тащил таз с мутной водой, обходя замершего у стены клерка, который безостановочно икал.

Франклин сидел в массивном кресле, его ноги, закованные в безжизненное железо фиксаторов, казались чужими, брошенными здесь предметами. В комнате было тесно. Слишком много вещей: треснувшая статуэтка орла, ворох телеграмм, чей-то забытый котелок, заплеванная пепельница. Воздух казался густым, как клейстер; его хотелось раздвигать руками.

— Господин президент, — прохрипел некто невидимый из угла, чавкая яблоком. — Банки закрыты. Люди жрут подошвы в Детройте. Капитализм испускает дух, как прирезанный боров.

Рузвельт не смотрел на него. Он смотрел на муху, которая отчаянно пыталась выбраться из пролитого на стол сиропа. Мир за окном — огромная, распухшая от нищеты страна — задыхался в пыльных бурях и очередях за бесплатным супом. Система, эта великая машина накопления, заклинила, разбрасывая шестеренки в грязь.

— Мы его не похороним, — вдруг отчетливо произнес Франклин. Голос его, вопреки немощи тела, прозвучал неожиданно звонко, почти нелепо в этой душной конуре истории. — Мы его выпороть должны. И заставить работать.

Он потянулся к столу. Движение было мучительным, тяжелым. Крупные капли пота выступили на лбу, смешиваясь с тальком. Кто-то за спиной громко уронил стопку тарелок — грохот рассыпался по анфиладам, отозвался сухим кашлем в подвалах.

— Кормить, — бросил он в пустоту. — Сначала кормить, потом строить мосты. И пусть копают каналы. Даже если они ведут в никуда. Главное, чтобы копали.

Рузвельт схватил перо. Оно скрипело по бумаге, как зуб по кости. «Новый курс». Слова ложились криво, жирно. Это не был план спасения фондов — это была попытка схватить за горло хаос. Государство, этот неповоротливый Левиафан, должно было втиснуться между голодным рабочим и зажавшимся банкиром, пахнущим дорогим коньяком и страхом.

В дверях появился человек в засаленном халате, притащил поднос с бульоном. В коридоре кто-то закричал: «Надежда! Он сказал — надежда!», и тут же последовал звук глухого удара и падения тела.

Франклин усмехнулся. Ирония ситуации заключалась в том, что паралитик собирался заставить танцевать страну, упавшую в обморок. Он чувствовал, как воля — холодная, железная, — вытекает из его пальцев на бумагу. Теперь чиновник будет заглядывать в кастрюлю к фермеру не для того, чтобы забрать последнее, а чтобы проверить, есть ли там мясо. Абсурд? Возможно. Но альтернативой была только полная темнота и запах гари.

— Эй, — позвал он в колышущийся туман кабинета. — Передайте им по радио. Скажите, что страх — это единственное, чего им стоит бояться. И принесите мне, черт возьми, чистый платок. Тут слишком много слизи.

За окном, сквозь мглу, проступил силуэт человека, копающегося в мусорном баке. Тот вдруг выпрямился и посмотрел на светящееся окно. Где-то далеко, на стройке плотины, первый отбойный молоток ударил в вечность, разрывая клаустрофобию великого застоя.

Сальвадор Дали и Сюрреалистический бал

1934 г.

Момент, когда Дали превратил свою жизнь в абсолютный пафосный перформанс. На балу в Нью-Йорке, устроенном в его честь, Дали появился с огромным батонем хлеба (2 метра длиной), привязанным к голове, и в аквариуме вместо шлема. Это был момент «коронации» сюрреализма как массового культа. Дали доказал, что художник — это не тот, кто пишет картины, а тот, кто сам является произведением искусства. Его фраза «Сюрреализм — это я» обрела в тот день физическую форму.

Нью-Йорк задышался в липком, копотном тумане 1934 года. В залах отеля «Уолдорф-Астория» воздух был плотным, как остывший коровий жир. Пахло мокрой шерстью, дорогим парфюмом, разлагающейся плотью омаров и свежеевыпеченным тестом. С потолка, облепленного позолоченной лепниной, капал конденсат, смешиваясь с пудрой на потных затылках гостей.

Дали продирался сквозь толпу, словно сквозь густой кисель. На плечах его лежал груз вселенского абсурда — двухметровый батон хлеба, прикрученный к черепу кожаными ремнями. Хлеб подрагивал, цепляя люстры, роняя сухие крошки в бокалы с шампанским.

Голова художника была замурована в стеклянный аквариум. Внутри этой прозрачной тюрьмы выдох застилал стенки белесой мутью, превращая лицо Сальвадора в расплывчатое пятно с выпученными, безумными глазами, в которых застыл ужас рыбы, выброшенной на берег.

Вокруг него копошилось месиво из фраков и шелка. Кто-то икал, кто-то рыдал, уткнувшись в чье-то плечо, облепленное перьями. Женщина с лицом, похожим на раздавленный инжир, пыталась поцеловать край его сюртука, но наткнулась на острый локоть лакея, тащившего поднос с сырыми потрохами. Грохот джаза превращался в монотонный гул, в хрип умирающего зверя.

— Сюрреализм — это я, — просипел он, но звук разбился о толстое стекло, превратившись в невнятное бульканье.

Он не шел, он торжественно гнил в эпицентре этого праздника. Каждый его жест был избыточен, каждый шаг — мукой. Батон на голове качался, как скипетр безумного короля, провозглашающего власть слизи и сновидений над трезвым миром. Это была коронация трупа, обряженного в золото.

Дали замер в центре залы, тяжело дыша в своем вакууме. Он больше не создавал искусство. Он сам был этой душной, пафосной опухолью на теле Нью-Йорка, живым воплощением кошмара, который все эти люди в бриллиантах так жаждали купить, чтобы хоть на миг почувствовать себя существующими.

Ночь длинных ножей

30 июня 1934 г.

Гитлер за одну ночь физически уничтожил руководство собственных штурмовиков (СА) во главе с Эрнстом Ремом. Момент, когда диктатура окончательно сбросила маски и перешла к тотальному террору внутри своих рядов.

В Бад-Висзее пахло парным молоком, мокрой псиной и недавней рвотой. Туман, жирный и липкий, как свиной шпик, вползал в открытые окна пансионата «Ганзельбауэр», путаясь в тяжелых портьерах.

Рем спал. Он храпел — натужно, с присвистом, выталкивая из забитой глотки запахи вчерашнего шнапса и чесночных колбасок. Его круглое лицо, лоснящееся от пота, казалось в предрассветных сумерках огромным сырым пельменем. На тумбочке, рядом с недопитым стаканом воды, в которой плавала дохлая муха, лежала его фуражка, золотое шитье засалилось.

В коридоре послышался топот — не маршевый, а какой-то суетливый, шаркающий. Дверь распахнулась с коротким всхлипом. Вошел Гитлер. Он казался маленьким в своем нелепом плаще, лицо — серое, как недопеченный хлеб, усики подрагивали. За ним ввалились черные фигуры, пахнувшие кожей и оружейным маслом. Они двигались неловко, задевая локтями стены, роняя напольные вазы.

— Эрнст, — пискнул Гитлер. — Вставай, предательская свинья.

Рем открыл один глаз. В углу комнаты кто-то из эсэсовцев громко сморкался в кулак, вытирая пальцы о тяжелую бархатную штору. На полу валялся чей-то брошенный сапог. Абсурд происходящего давил на виски: в соседнем номере штурмовика Хайнеса вытаскивали из постели вместе с каким-то юношей; Хайнес мычал, путаясь в простынях, а солдат в черном методично бил его прикладом по почкам, издавая звуки, похожие на крикание.

— Адольф? — прохрипел Рем, пытаясь сесть. Живот его колыхнулся. — Ты чего так рано? Кофе еще не подавали.

Гитлер не ответил. Он смотрел в сторону, на стену, где висела криво прибитая картина с альпийским пейзажем. Его передернуло от брезгливости. Грязь была повсюду: в складках одеял, в нечищенных зубах его соратников, в самом воздухе, который, казалось, можно было резать зазубренным ножом.

На улице, в рассветной каше из грязи и тумана, выстраивали других. Кто-то стоял в исподнем, дрожа от утренней свежести. Слышались выкрики «Хайль!», захлебывающиеся в кашле. Приговор зачитывали быстро, глотая слова, пока мимо пробежала местная кошка с облезлым хвостом.

В камере Мюнхенской тюрьмы позже Рему положили на стол револьвер. Он долго смотрел на него, ковыряя в зубе спичкой. Стены были склизкими, с потолка мерно капало.

— Пусть Адольф сам стреляет, — буркнул он, сплевывая на затоптанный пол.

Вошедшие офицеры не стали спорить. Они стреляли почти в упор. Гулкий звук выстрела в тесном пространстве превратился в нелепое «хлоп», словно лопнул перегретый пузырь. Рем повалился на бок, задев стол, стакан с водой опрокинулся, и прозрачная струйка потекла по доскам, смешиваясь с чем-то густым и темным.

Диктатура перестала притворяться политикой. Она стала физиологией — хрустом костей, запахом хлорки и чавканьем сапог по свежему мясу своих же братьев. На столе в канцелярии Гитлера в этот момент, вероятно, остывал чай и лежало засыхающее пирожное.

«Триумф воли» Лени Рифеншталь

1935 год

Кино о нацистах. Пафос эстетизации зла. Рифеншталь создала шедевр киноязыка, который стал мощнейшим инструментом пропаганды. Это был момент, когда человечество поняло, как опасно искусство, если оно служит тирании.

В Нюрнберге стояла кислая, густая осень, перемешанная с запахом пережаренной свинины и мокрой шерсти. По брусчатке, чавкая грязью, переваливались сапоги — тысячи одинаковых, тупорылых сапог. Воздух был забит взвесью: копоть от факелов, чесночный пот штурмовиков и какая-то мелкая, въедливая пыль, летевшая прямо в зрачки.

Фрау в белом шелковом комбинезоне, испачканном на колене чем-то маслянистым, карабкалась по стальным лесам. Лицо ее, острое, как у хищной птицы, было серым от бессонницы. Рядом, хрипя и отпихивая локтями зазевавшихся ординарцев, лезли ее помощники. Один из них, с красным, как сырая говядина, затылком, волок за собой тяжелый металлический ящик, который то и дело бился о чугунные заклепки трибун.

— Левее! — выла фрау, и голос ее тонул в медном реве оркестра. — Прямо в рот ему целясь, когда он начнет орать!

На площади внизу копошились человеческие вши, выстроенные в безупречные геометрические фигуры. Если смотреть сверху — геометрия богов. Если подойти ближе — сопливые носы, прыщавые подбородки и пар, вырывающийся из сотен глоток. Пахло не триумфом, а мокрой собакой и железной окалиной.

Вождь стоял на трибуне, маленький, нелепый, в слишком просторном кителе. У него дергалось веко. Но фрау видела не человека — она видела ритм. Она заставляла мир изгибаться под нужным углом. Стальные конструкции врезались в небо, отсекая все лишнее, оставляя только чистый, сверкающий ужас, возведенный в абсолют.

В какой-то момент один из барабанщиков, ошалев от грохота, вырвал завтрак прямо на свои начищенные ботфорты. Никто не шелохнулся. Рядом стоящий лишь плотнее прижался плечом, впечатывая соседа в общий строй. Эстетика не терпит случайных капель желчи, если только они не подсвечены так, чтобы казаться золотом.

Фрау прильнула к визирю своего железного зверя. Мир в нем был черно-белым, четким и до тошноты прекрасным. Там, внутри стекла, зло не пахло кислым пивом; оно сияло, как свежeweмытый мрамор. Она знала: когда люди увидят этот свет, они забудут про грязь под ногтями и вонь из бараков. Они захотят стать этой геометрией, этой сталью, этим холодным, ровным маршем в никуда.

— Готово, — прошептала она, когда солнце наконец пробило серую мглу и упало на древко знамени, превращая кусок ткани в кость и пламя.

Внизу, в толпе, кто-то зашелся в истерическом кашле, захлебываясь восторгом и копотью. Мир замер, превращаясь в величественную гравюру, под которой медленно и верно гнила сама жизнь.

Подвиг экипажа самолета «Максим Горький»

18 мая 1935 г.

Самый большой самолет своего времени (восемь двигателей, агитплощадка, типография на борту) совершал демонстрационный полет над Москвой. Сопровождающий истребитель начал выполнять фигуры высшего пилотажа рядом с гигантом и врезался в его крыло. Огромный самолет начал разваливаться над жилыми кварталами. Пилоты до последнего удерживали машину, чтобы она не рухнула на дома, и вывели ее в район поселка Сокол. Похороны экипажа на Красной площади стали моментом национального траура и пафоса несбывшейся мечты об идеальной воздушной империи.

Сырая майская взвесь висела над Москвой, густая, как кисель в жестяной миске. Небо цвета невытоженного цинкового ведра давило на маковки церквей и серые коробки новостроек. «Максим Горький» шел тяжело, с натужным рокотом восьми утроб, выплевывая в облака гарь и жирную копоть. Внутри, в чреве этого летающего собора, пахло типографской краской, кислыми щами и застарелым страхом.

Грохот двигателей ввинчивался в череп. В агитпункте, среди вороха свежих газет, какой-то чин в потном френче пытался кричать в телефонную трубку, но звук тонул в вибрации переборок. По полу катилось обгрызенное яблоко, собирая пыль и мелкие типографские литеры. Все было избыточно, нелепо: огромные крылья, внутри которых могли гулять люди, казались не триумфом разума, а раздувшейся опухолью на теле неба.

Пилот Иван Михеев чувствовал, как штурвал липнет к ладоням. Его лицо, изрытое оспой и усталостью, казалось гипсовой маской. Рядом сопел помощник, вытирая замасленной ветошью лоб.

Мир снаружи сузился до размеров грязного иллюминатора, за которым, кривляясь и заваливаясь на крыло, плясал маленький истребитель И-5. Пилот «ишачка» Благин, охваченный каким-то судорожным, бесовским азартом, крутил петли вокруг левиафана, словно назойливая муха у глаза спящего быка.

— Дурак, — хрипло выдохнул Михеев, когда истребитель в очередной раз промелькнул над самым фонарем, обдав кабину вонью горелого бензина. — В потроха ведь залезет.

И он залез. Благин заложил вираж — бессмысленный, лихой, пахнувший дешевым одеколоном и смертью. Металл взвизгнул. Удар был негромким, скорее чавкающим. Истребитель вошел в плоскость гиганта, как нож в подтаявшее масло.

Мир вывернулся наизнанку.

В кабине «Горького» запахло горелой изоляцией и рвотой. Пилоты — лица серые, в глубоких рытвинах морщин, глаза вытаращены — вцепились в штурвалы. Железо сопротивлялось. Трос управления лопнул с сухим звуком бича, хлестнув по обшивке.

— Дома под нами, — прохрипел один, отплеываясь кровью: при ударе он прикусил язык. — На Сокол тяни, курва...

Самолет начал разваливаться медленно, с достоинством обреченного зверя. Отваливались куски перкаля, летели вниз пачки агитационных листовок, кружась в воздухе, словно белые вши. Под ними распластались жилые кварталы — тесные, грязные, с бельем на веревках и муравьиной суетой людей, не понимающих, что сверху на них падает их собственная гордость.

Воздух в кабине стал плотным, осязаемым. Визг разрываемого дюраля заглушал все. Пилоты, обливаясь липким потом, ломали ногти о рычаги. Хвост гиганта уже жил своей жизнью, отламываясь, как сухая корка хлеба. Огромная туша, завывая всеми щелями, уходила в сторону от крыш, к пустырям Сокола. Последний рывок штурвала — и все превратилось в месиво из алюминия, человеческого мяса и типографских станков.

Похороны на Красной площади были торжественны и смрачны. Лафеты скрипели, сапоги почетного караула вминали весеннюю грязь в брусчатку. В толпе шептались, сморкались в кулак. Гробы казались слишком маленькими для тех, кто управлял небесным городом.

Великая мечта о воздушной империи лопнула, оставив после себя лишь запах гари и горький привкус железной окалины на языке. Над площадью все так же висело низкое, равнодушное небо, которому было глубоко плевать и на героев, и на их железных птиц.

На мостовой лежал забытый кем-то листок, отпечатанный на борту в последние минуты: «Мы рождены, чтоб сказку сделать...» Текст обрывался жирной кляксой, похожей на запекшуюся кровь.

Появление теории Кейнса

1936 год

Джон Мейнард Кейнс опубликовал «Общую теорию занятости, процента и денег». Пафос интеллектуального переворота: он доказал, что рынок не может исцелить себя сам и нуждается в государственных инвестициях.

Кембридж задыхался в желтом, липком тумане, похожем на несвежий мясной бульон. В коридорах Кингс-колледжа пахло мокрой шерстью, прогорклым жиром и застарелым недержанием. Из темноты ниш высывались чьи-то потные физиономии с раздутыми аденоидами, шептали невнятное, тыкали в ребра костлявыми локтями.

Джон Мейнард Кейнс шел по проходу, едва не задевая плечами низкие своды. На нем был тяжелый, как панцирь, макинтош, забрызганный нечистотами с мостовой. В кармане хрустели корректурные листы «Общей теории». Рядом семенил какой-то недотыкомка-ассистент, беспрестанно сморкавшийся в грязную тряпицу и пытавшийся поймать руку мастера, чтобы поцеловать или укусить — в этом месиве тел было не разобрать.

— Рынок, Мейнард, — сипел ассистент, брызгая слюной на высокий воротник Кейнса. — Рынок — это божья роса. Он сам... он вылечит... он переварит...

Кейнс остановился и медленно обернулся. Лицо его, бледное, словно плохо промытая требуха, заполнило все пространство.

— Не вылечит, — прохрипел он. Голос звучал так, будто в горле перекачивались речные камни. — Невидимая рука рынка парализована. У нее артрит. Она может только дрожать. Рынок сдох. Он лежит в собственной моче и ждет, когда его пристрелят.

Он вытащил из кармана пачку листов и ткнул ими в лицо пробежавшему мимо лакею, который нес на подносе окровавленную баранью голову.

— Смотри! — Кейнс схватил лакея за ухо, выкручивая его до синевы. — Равновесие при неполной занятости! Слышишь, ты, недоносок? Если государство не ввалит сюда денег, если не начнет копать канавы и тут же их закапывать, мы все сгнием в этом киселе. Процентная ставка — это не цена ожидания, это страх. Чистый, животный страх перед пустотой под кроватью!

В углу кто-то громко и надрывно испражнялся в медный таз. Звук был гулкий, торжественный.

Кейнс продирался дальше, сквозь толпу кашляющих профессоров в пожелтевших сорочках. Они жевали сухари, крошки сыпались в складки их дряблых подбородков. «Саморегуляция!» — доносилось из столовой вместе с запахом вареной капусты.

— Ложь! — рявкнул Кейнс, наступая в лужу неопределенного происхождения. — Нужно вливание! Прямо в вену, в самую гниль! Государственные инвестиции — это клизма для этого запорного мира!

Он вырвал у прохожего зонт и начал неистово чертить на заплесневелой стене формулу предельной склонности к потреблению. Из дыры в потолке закапала черная жижа, заливая цифры. Кейнс зашелся в лающем кашле, вытирая губы тыльной стороной ладони, на которой осталась полоса сажи.

Вокруг засуетились, закричали. Кто-то упал, вцепившись в его сапог. Кейнс не смотрел вниз. Он видел, как над Кембриджем, над всей этой дряхлой Европой, разверзается огромное, сырое небо, полное железных денег, которые никто не хочет тратить.

Интеллектуальный переворот свершился. Это был триумф разума в сумасшедшем доме, где вместо смиренных рубашек всем выдали лопаты.

Отречение Эдуарда VIII от престола

11 декабря 1936 г.

Король Британской империи официально отказался от короны ради любви к разведенной американке Уоллис Симпсон. Фраза «Я нашел невозможным исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую люблю» — пик романтического пафоса в политике.

Туман над Форт-Бельведер висел такой густой и жирный, что его, казалось, можно было резать засаленным кортиком. В коридорах пахло мокрой псиной, кислым хересом и несвежим бельем монархии. Грохнула дверь — где-то в глубине дома лакей с разбитой губой уронил серебряный поднос, и звон этот, дребезжащий, нелепый, долго вяз в тяжелых портьерах.

Дэвид — еще король, но уже с лицом помятым, будто его долго жевали в углу — сидел за столом, заваленным окурками и гербовой бумагой. Уоллис в соседней комнате громко сморкалась. Звук был физиологичный, сочный, перекрывающий шорох дождя по стеклу.

— Подайте перо, — прохрипел он в пустоту.

Из тени выплыл секретарь. У него из уха рос длинный седой волос, который подрагивал в такт одышке. Секретарь пах лавандой и гнилыми зубами. Он протянул ручку, испачканную в чем-то черном, липком. На столе задержалась полудохлая муха, запутавшись в пролитом чае.

— Пишите, Ваше Величество. Отрекаюсь, мол. Народ ждет. Премьер-министр внизу вторые сутки сапоги не снимал, от него разит как от конюшни.

Эдуард придвинул бумагу. Текст плыл. В горле застрял ком невысказанной нежности, похожий на кусок непрожеванного пудинга. Он вспомнил ее руки — сухие, властные, пахнущие дорогим табаком и тщеславием. Ради этого стоило вывалиться из золоченой клетки прямо в липкую грязь обыденности.

— «Я нашел невозможным...» — зашептал он, царапая бумагу. — «...исполнять обязанности без помощи и поддержки женщины...»

В этот момент за окном кто-то истошно закричал, заскрежетал металл по камню, послышался плеск выливаемого помойного ведра. Грязь на сапогах вошедшего офицера связи медленно сползала на ковер, образуя лужицу, похожую на очертания империи.

— Которую люблю, — закончил король.

Он поставил подпись. Перо скрипнуло и брызнуло чернилами ему на манжет. Секретарь равнодушно забрал лист, сложил его вчетверо и сунул в карман засаленного сюртука.

— Ну вот и все, — сказал секретарь, ковыряя в зубу ногтем. — Теперь вы просто человек. Идите, она там кофейник разбила.

Эдуард встал. Корона, которой не было на голове, все равно продолжала давить на виски фантомной болью. В коридоре выли терьеры. Пахло дождем, концом эпохи и нечищеным медным самоваром. Он шагнул в полумрак, спотыкаясь о брошенную кем-то скамеечку для ног.

Гибель дирижабля «Гинденбург»

6 мая 1937 г.

Гигантский дирижабль вспыхивает в небе над Нью-Джерси. Конец целой эры воздухоплавания, запечатленный на киноленту с душераздирающим комментарием диктора.

В Лейкхерсте пахло мокрой псиной, дешевым табаком и предчувствием большой беды. Небо над Нью-Джерси выцвело до костяной бледности, тяжелое, как саван, провисший под тяжестью гнилых яблок.

«Гинденбург» выплывал из этой хмари медленно, с достоинством обожравшегося кита. Громадная туша, обтянутая серебристой кожей, под которой угадывался костлявый скелет дюралюминия.

Внутри, в тесных коридорах, пахло не триумфом техники, а застоявшимся потом, кислым вином и страхом, который пассажиры усердно затапывали в ковровые дорожки. Какой-то господин в помятом фраке, с лицом цвета разваренной сосиски, суетливо пытался застегнуть запонку, в то время как стюард с белесыми глазами безумца вытирал засаленной тряпкой подоконник, размазывая по нему жирную сажу.

Снаружи шел мелкий, пакостный дождь. Внизу, на причальной мачте, копошились люди — серые, неразличимые, похожие на насекомых, застигнутых врасплох у кучи навоза. Кто-то выкрикивал команды, голоса тонули в вязком воздухе, превращаясь в невнятное бульканье. Грязь чавкала под сапогами, матросы тянули канаты, натужно кряхтя, будто пытались удержать на привязи само небо.

И тут оно случилось.

Сначала был звук — не взрыв, а тяжелый, утробный вздох, словно у титана лопнула аорта. У самого хвоста, там, где на киле красовалась черная отметина, вспух нелепый розовый пузырь. Через мгновение он лопнул, выплеснув ослепительное, яростное пламя. Водород, этот невидимый дух смерти, наконец-то вырвался на волю.

— О, Господи! Оно горит! Оно падает! — голос диктора сорвался на визг, полный первобытного ужаса. Он рыдал в микрофон, захлебываясь слюной и словами, превращая трагедию в балаганный плач. — Люди! Там же люди!

Гигантская сигара переломилась. Огненный скелет обнажился, рассыпаясь искрами. Сверху посыпались вещи: чемоданы, шляпы, горящие куски перкаля и что-то тяжелое, мягкое, что шмякнулось в грязь с глухим звуком. Те, кто был внутри, метались в дыму, как тараканы в банке, которую сунули в костер. Женщина с безумным лицом прижимала к груди обгоревшую куклу, пытаясь выйти в окно, которого больше не было — была лишь огненная бездна.

Серебристое величие за секунды превратилось в груды дымящегося лома. В воздухе завис запах паленой шерсти и жареного мяса. Последние капли дождя шипели на раскаленном металле. Дирижабль, еще минуту назад казавшийся венцом цивилизации, теперь лежал в грязи — раздавленная, мертвая стрекоза, чья эра закончилась не под фанфары, а под истеричный всхлип человека, который просто стоял рядом.

Где-то в стороне, не обращая внимания на ад, облезлый пес самозабвенно грыз брошенную кем-то кость.

Перелет Валерия Чкалова через Северный полюс

18 — 20 июня 1937 г.

Экипаж самолета АНТ-25 совершил первый в мире беспосадочный перелет из Москвы в США через макушку Земли. Обледеневший самолет, летевший вслепую над белым безмолвием, приземлился на военном аэродроме Ванкувера. Американцы были в шоке: из кабины вышли люди в меховых унтах, которые провели в воздухе 63 часа и связали два полушария. Это был триумф «сталинских соколов». Президент Рузвельт принял их в Белом доме, нарушив протокол (встреча длилась полтора часа вместо 15 минут). Чкалов стал мировой суперзвездой, символом того, что для человека больше нет «запретных» широт.

В кабине воняет кислым потом, застарелым бензином и овчинным жиром. Байдуков, вцепившись в штурвал, кажется частью этой лязгающей, дрожащей махины. Лицо его — серая маска в пятнах машинного масла, глаза выцвели от бесконечного вглядывания в белую муть. За стеклом нет мира, есть только плотная, как вата, взвесь, в которой тонет АНТ-25.

Чкалов скребет ногтями обледеневший бок приборной панели. Под ногтями — чернота.

— Вода, — хрипит он, и голос его тонет в реве мотора. — Саша, вода замерзла. В бачке лед.

Беляков молчит, согнувшись над картами, которые отсырели и превратились в липкую кашу. Он похож на призрака в меховом коконе. Потолок кабины давит на затылок, пространство сузилось до размеров гроба, набитого железками и человеческим мясом.

Снаружи — Северный полюс, макушка Земли, но здесь, внутри, лишь клаустрофобия и липкий страх, что мотор чихнет и захлебнется в ледяной крошке. Самолет оброс ледяной коркой, он тяжелый, как утопленник, он не летит, а продирается сквозь кисель.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.